

ლიტერატურული გურჯინა

10.335/
1965/2

144
10.335

1

1965

10.335/
19 65/2



Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й
Ж У Р Н А Л



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г Р У З И Я

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й Г Р У З И И ● Г О Д И З Д А Н И Я Д Е В Я Т Ы Й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

77.055

РЕВАЗ МАРГИАНИ. Строки о родине. Воспоминания.. Керчь, 1942. Стихи. Перевод с грузинского А. Глезера	3
СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. Одиночество. Вторая книга романа «Пепелище». Перевод с грузинского К. Коринтели	5
ФРИДОН ХАЛВАШИ. Из книги лирики. Стихи. Перевод с грузинского С. Куняева	25
ШАЛВА АМИСУЛАШВИЛИ. Будапештское утро. Чертов мост. Стихи. Перевод с грузинского Д. Маркиша	26
МЕРАБ ЭЛИОЗИШВИЛИ. Дедушка Симон. Рассказ. Перевод с грузинского А. Абуашвили	27
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА. Симону Чиковани. Стихи	32
ВАНО УРДЖУМЕЛАШВИЛИ. Мяч и поле. Повесть. Перевод с грузинского М. Рывкина	33
АНДРО ТЕВЗАДЗЕ. Кувшины. Цветы вишни. Стихи. Перевод с грузинского А. Давыдова	47

1

ИЗ ЛЕТОПИСИ ДРУЖБЫ

КОРА ЦЕРЕТЕЛИ. Фильм, который не был снят	48
МИХАИЛ ШОЛОХОВ, НИКОЛАЙ ШЕНГЕЛАЯ. Поднятая целина	52

ПОЛВЕКА ОКТЯБРЯ

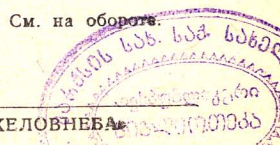
ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Поэзия и революция	62
---	----

ПУБЛИЦИСТИКА

МЭЛОР СТУРУА. Блудный сын	58
---------------------------	----

Я Н В А Р Ь

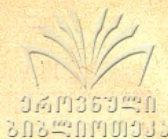
1 9 6 5



РОМАНТИКА БУДНЕИ

ЛИЛЯ БРАЙЛОВСКАЯ. Проходчики подземных трасс

75



КРИТИКА

ГЕОРГИЙ НАТРОШВИЛИ. Бессмертие героев 81
ЛЕВ АННИНСКИЙ. То, что мы называем книжностью 85

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Будет издано в 1965 74
Выйдет на русском языке 84
У Анны Ахматовой 95

Редактор МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ

Редакционная коллегия:

**И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (ответственный секретарь),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ (заместитель редактора), М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ, Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН,
Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Адрес редакции: Тбилиси, 7. Улица Ленина, 5, телефон 3-44-08

Реваз МАРГИАНИ

СТРОКИ О РОДИНЕ

Могу ли без Ингури жить,
Страну любить могу ли?
Что стоит мир и наша жизнь
Без гор и без Ингури?!

Мне ль без Сванетии прожить,
Других людей согреть ли?
Что стоит мир и наша жизнь
Без Ушбы и Сванетии?!

Могу ли без Арагви жить,
Без песен выжить разве?
Что стоит мир и наша жизнь
Без песен и Арагви?!

Могу ли без тебя прожить,
Других любить могу ли?
Что стоит мир и наша жизнь
Без милой, без Ингури?!

ВОСПОМИНАНИЯ...

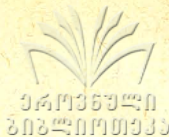
Воспоминания явитесь и ответьте мне:
Друг друга узнаете? Встаньте ближе.
С мама, вижу я твое Клдеэти,
Сванетию отцовскую я вижу.

Снега под солнцем и туманы мутные,
Спокойствие села Клдеэти тихого.
Вершины непокорные и мудрые,
Ингури, что летит по скалам лихо.

В крови все это накрепко замешано,
Отсюда я с рожденья брад начало.
И в строчках моих связано и взвешено
Все то, что вверх и вниз меня бросало.

Какой судьбою были вы сосватаны
И как смогли во мне соединиться?!
Сванетия в моей деснице спрятана,
В крови вино Клдеэти горячится.

КЕРЧЬ, 1942



Ираклию Абашидзе

Еле дышит под снегами Керчь.
На дороге гусениц оскал,
Тишина нависла, точно меч,
А на сердце горечь и тоска.

Рыщет смерть не первый день уже,
Хоронить друзей нам привелось.
Мы сидим с тобою в блиндаже,
Смерть не ждем, она — неожиданный гость.

Дым табачный медленно ползет,
На двоих у нас один стакан.
Яблоки не делят здесь на счет,
Водку делят точно пополам.

Эту водку тянем и молчим,
Слов плохих не скажем ни о ком.
Наверху дома бредут в ночи,
И вдове подобен каждый дом.

Ранним утром заалел восток.
Я поднялся и тебя обнял.
Ты покинул город — вышел срок.
— До свиданья. Поругай меня.

Керчь сражалась, раненная в грудь,
Между двух морей и двух огней.
Был мороз такой, что не вздохнуть,
Год сорок второй был на войне.

Перевод с грузинского А. Глезера

ОДИНОЧЕСТВО

Перевод с грузинского К. Коринтели

1

Несколько дней подряд бушевал ветер. Бесшабашный и разгульный, носился он по пустынным, застывшим от зимней стужи полям, кружил в воздухе клоки сена, взметал тучи пыли вдоль деревенских улиц, со свистом прорывался сквозь голые ветви деревьев и оглашал окрестность свирепым воем.

А на сером небе тускло мерцало безжизненное, словно тронутое ржавчиной, солнце.

Лишь к вечеру седьмого дня унялся ветер. Временами легкими порывами пробегал он по холмам и низинам, но тут же сникал. Постепенно силы его иссякали, слабели. Вскоре он затих совсем.

Окрестность, погруженная в тишину, казалось, дремлет, отдыхая от стенаний и завываний ветра.

С рассвета все небо затянули тяжелые тучи; воздух потеплел, потом на землю медленно посыпались снежные хлопья.

В то утро Гига Канчавели пришел в колхозную контору раньше обычного. У него на сегодня огтавались еще кое-какие дела, и он спешил их закончить до прихода тех трех парней, которых вызвал накануне. Но вот и дела были закончены, и близился уж полдень, а парни все не появлялись.

Раздраженный долгим ожиданием, Гига собрался было уходить. Но, поразмыслив, решил все же дождаться их. Не иначе, как что-то важное задержало ребят. Не могли ведь они так обнаглеть, чтоб вовсе не явиться...

В конторе, кроме Гиги, никого не было. В иное время не раз мечтал он остаться в одиночестве, но никак это не получалось. Только, бывало, подумает, что вот теперь уж никто не придет, не помешает, как отворяется дверь и входит кто-то из колхозников, либо по делу, либо просто так, покалякать, отвести душу. А сейчас вот ждет он — и вообще никого! Да и вряд ли сегодня, в канун Нового года, кто-нибудь в контору заглянет. В такой день каждый у себя дома хлопочет, к празднику готовится.

В комнате было холодно. Гига растопил железную печку и подсел к столу. Уж коли так, поработает немного, хоть время убьет. Кстати, хорошо бы теперь же обдумать и прикинуть, что и как к весне готовить.

Он отыскал чистую тетрадь. Написал несколько строк. Но нужные

слова разбегались, и он никак не мог перенести на бумагу мысли, в беспорядке роившиеся в голове.

Усилием воли он заставил себя сосредоточиться, но не надолго — написал всего одну-две фразы. А потом рука его непроизвольно стала вычерчивать что-то на бумаге. Вскоре тетрадный лист, а затем и газета, растеленная на столе, запестрели рисунками. Чего тут только не было — длиннобородые мужчины, мостик через ручей, какие-то машины, чертенок верхом на лошади, девушка, идущая вниз по косогору... Потом появился высокий холм, и у подножья его — крестьянский дом, из трубы на крыше валил дым... Что-то знакомое почудилось Гиге в этом доме. Пририсовав рядом смоковницу, он понял — это же его дом!

Нет, не работается сегодня, слишком далеко блуждают его мысли...

Отбросив карандаш, Гига достал кисет, свернул самокрутку... Черт побери, никогда еще не было ему так тягостно сидеть в этой комнате! Жар от раскаленной печки совсем разморил его, думать ни о чем не хотелось.

Огонь напоминал о доме... Сейчас там хлопочет Дэсико. Повязав голову косынкой, суетится она у огня, варит, печет, жарит, чтобы завтра, в первый день Нового года, достойно встретить гостей. Бедная девочка, ей и помочь-то некому! С тех пор, как Элисо ушла из дому, все хозяйство тяжелым бременем легло на ее хрупкие плечи.

Но он уверен — Дэсико не подведет его, все успеет к праздничному столу. Больше того, она, как всегда, превзойдет самое себя. Нет, он, конечно, не станет упрекать сестру, но просто удивительно, откуда у этой девочки, выросшей на горьком сиротском хлебе, такая щедрость, пожалуй, чрезмерная щедрость?! Она ни капельки не расчетлива, настолько, что почти никогда не может распределить деньги так, чтоб и на дальнейшее хватило. А ведь им приходится об этом думать.

Дэсико была совсем крошкой, когда погибли их родители. Это случилось в тот год, когда над деревней разразилась эпидемия, унесшая столько жизней. Шла война... Он скрывался в горах. И когда в девяносто семнадцатом получил, наконец, возможность вернуться к родному очагу, то застал в живых лишь младшую сестру. Девочка каким-то чудом уцелела в этом аду. Бледная, в лице ни кровинки... Жизнь у нее теплилась лишь в глазах...

Воспоминание о том дне до сих пор полно горечи для Гиги. Когда он переступил порог отчего дома, вместо возгласа радости услышал крик испуга — Дэсико уже не помнила лицо брата, она увидела, что в комнату вошел увешанный оружием незнакомый мужчина. И только когда Гига окликнул ее по имени и назвал себя, девочка успокоилась.

Появление брата больше походило на сон, и Дэсико долго не могла опомниться от этого неожиданного счастья. Она порывисто обнимала Гигу, плакала, смеялась, и снова плакала, целовала его руки. Трогательная ласка сестры вызвала слезы даже у сурового, одичавшего от скитаний Гиги. За ее радостью он угадывал глубокую боль пережитых страданий.

...Дом в тот день наполнился людьми. Вплоть до полуночи не расходились соседи, пришедшие повидаться с Гигой... Многое рассказали они ему, многое и от него услышали.

А когда все ушли, брат и сестра долго еще сидели вдвоем, рассказывая друг другу о том, что пережили за годы разлуки. Просто, словно все, что довелось перенести, было ей нипочем, говорила Дэсико о последних днях отца и матери, о своем одиноком житье-бытье. Гига слушал, и не верилось ему, что все это могла выдержать бледная, хрупкая, как одуванчик, девочка... Не раз ему приходилось круто, не раз жизнь казалась ему невыносимой и, скитаясь по глухим чащобам, словно загнанный

зверь, проклинал он день и час своего рождения. Но оказывается, не он, а вот этот неоперившийся птенец глядел в подлинное лицо Страдания... Гига слушал печальный рассказ сестры, и в душе его крепло решение — во что бы то ни стало он выкорчует из ее памяти эти страшные воспоминания, радостью наполнит ее настоящее и будущее.

Прошли годы. И сейчас Гига даже помыслить не может о том, чтобы жить без Дэсико. Наверно, потому он и не решается выдать ее замуж. Нет, конечно, он не станет на ее пути, он сделает все для ее счастья, но за первого встречного замуж не отдаст. Пока что он не видит вокруг никого подходящего... Дэсико достойна иметь хорошего мужа. Видимо, и она сама чувствует это, потому и не спешит с замужеством. Правда, Гига замечает, что из всех парней она выделяет старшего сына Ананиа Арбеладзе — Како. Между прочим, она и не скрывает своей симпатии, но говорит о Како так просто, свободно, что невольно думаешь — нет, Како ей всего лишь товарищ, между ними только дружба и ничего больше... А впрочем, кто знает, какие тайны скрывает сердце девушки, ему ли, Гиге, их разгадывать! Како порядочный парень, и собой хорош, и работяга, и душа у него добрая. Прекрасный парень. Но разве этого достаточно для счастья? Да, теперь-то Гига по опыту знает, каким нужно быть осторожным и осмотрительным, чтобы не пришлось потом горько сожалеть о своем выборе. В этом деле нельзя полагаться лишь на добрые чувства, даже любовь — это еще не все для того, чтобы навсегда связать свою судьбу с другим человеком. Нет, не всегда сердце может оказаться надежным советчиком... Сердцу только дай волю, и оно сбросит тебя в такую пропасть, откуда ты и вовек не выберешься. Увы, он на себе испытал, каким мучением иной раз может обернуться супружество. Вот женился он на Элисо — впопыхах, сгоряча, — а какую радость он с ней видел? Даром что по любви! Ведь ни разу за всю их недолгую совместную жизнь он даже голоса на жену не повысил, а она? Чем она ему отплатила? Собрала свои манатки и сбегала от него, сделав его предметом деревенских сплетен и пересудов...

Сколько раз глядел он в лицо смерти, чего только не пережил, не перевидал, но ничто не смогло его сломить, а вот эта женщина одолела его. С такой легкостью оттолкнула она его от себя, отбросила, словно был он какой-то ненужной тряпкой...

На запотевших стеклах пролегли водяные бороздки. Медленно стекали на подоконник капли. Молочно-белый свет прильнул к окну, за которым, едва различимые в белом мареве, кружились снежинки.

И подобно их беспорядочному рою, кружились бесчисленные мысли в голове Гиги. Они, эти мысли, стремительно сменяли друг друга, не давая ему возможности сосредоточиться на чем-то одном. Все так вот смешалось, перевернулось и в его жизни... До сих пор он был хоть немного счастлив тем, что его любили товарищи. А теперь их любовь тяжело давит на его плечи.

Всего месяц назад Гигу избрали председателем колхоза... Он хорошо помнит тот день. Радостный и взволнованный возвращался он из конторы домой. И всю дорогу только и думал о том, что он обязан оправдать доверие и любовь односельчан, которые с этого дня вручили ему свою судьбу... Он головы не пожалеет, только бы не подвести их. Помочь деревне построить новую жизнь — вот его задача. И кто знает, может, он и сумеет сделать этих людей счастливыми.

Гига весь ушел в эти мечты, когда его нагнал секретарь партячейки Барбакадзе.

— Ну и ввязали же мы тебя в хлопотное дело, дорогой Гига. Но не беда, ты парень крепкий, выдюжишь! — сказал тогда Барбакадзе.

— Только бы выдюжить... — единственное, что смог ему ответить Гига.

Он ждал, что секретарь скажет еще что-нибудь ободряющее. Но то, что услышал затем Гига от Барбакадзе, насторожило его.

— Сам понимаешь, быка за рога надо брать. Если сразу же не натянешь вожжи, то и дело провалится, и сам пропадешь, так и знай.

— Какие вожжи? — не понял Гига.

— А как же! По головке гладить да в пояс кланяться? Так не пойдет! Одними сладкими речами да лаской ничего не сделаешь. Ты как думаешь, из-за чего твой предшественник пострадал, почему его убрали? Человек верный был, преданный партии, да закружилась у него голова от успехов, оторвался от народа... Ну, словом, ты свое дело сам знаешь, а мой совет все же не забывай.

Гига никак не мог понять, как это предыдущий председатель колхоза оторвался от народа... И почему он оказался плохим руководителем, если были такие успехи, от которых у него голова закружилась? И потом, зачем натягивать вожжи, если люди и без того честно трудятся?

Тем не менее, Гига крепко запомнил наказ Барбакадзе. Не однажды задумывался он над его словами, порой робел от сознания всей глубины ответственности, на него возложенной, но никогда не терял надежды. А надеждой Гиги были все те же соседи. Он вырос среди них, изучил характер каждого. И неужто судьба окажется такой коварной, что он не сможет найти общего языка с этими людьми?.. Что ж, дело есть дело, и, конечно, если он почувствует, что одним лишь добрым словом не обойдешься — ничего не поделаешь, придется тогда последовать совету Барбакадзе. Главное, чтоб совесть чиста была. Когда совесть чиста и в глубине души ты чувствуешь свою правоту, знаешь, что суров к человеку во имя его же блага, тогда и действовать будешь с большой смелостью и умом. Во всяком случае, сейчас необходимо одно — набраться терпения, быть очень осторожным. Нахрапом да окриками здесь не возьмешь, людей только зря раздразнишь, и озлобишь... Поди-ка, попробуй проявить свою власть на таком, как Ивлианэ Бубашвили. С ним и вовсе не знаешь, как себя вести: рассердишься — он еще пуше разъярится, лаской — тоже ничего не добьешься. Его ни силой, ни добром не проймешь. Притопает в контору, окликнет своим зычным голосом каждого, кто там есть, и вдруг ни с того ни с сего как раскричится. Поглядишь на него и диву даешься, в чем только у него душа-то держится: не человек, а трухлявое дерево. А крикнет он, так глухой и тот с первого раза услышит, повторять не придется. На одном месте Ивлианэ минуты не усидит, непоседлив, что твой вьюн, и задирист, как молодой петушок — всегда в драку готов. Всем его воркотня осточертела, но кто осмелится перечить Ивлианэ Бубашвили... Вот и наемни — едва он вошел в контору, тотчас накинулся на первого, кто ему под руку попал, потом углядел, что кто-то улыбается не к месту, и давай его пушить, а потом и на Гигу обрушился:

— Это что же такое будет-то? Ты теперь стал мне хозяином? На голове у меня сидеть должен? Оперившийся в моих же руках птенец мне указывать будет, как пахать и как сеять? Может, думаешь, постарел я, легко меня скрутить, да? Людей заставили возненавидеть, теперь хочите, чтоб я и от бога отвернулся и от земли! Чего тебе от меня надо? Шкуру хочешь содрать? Хи-хи! На, бери, пожалуйста, только ведь она и на каламани¹ тебе не пригодится!

Гига всегда был осторожен с Ивлианэ. Что бы ни сказал ему этот

¹ К а л а м а н и — самодельная кожаная обувь грузинских крестьян.

пожилой крестьянин, отвечал он всегда почтительно, ласково, старался умиловить его, успокоить. Но удивительно, почему этот человек, проживший такую тяжелую, полную лишений жизнь, так недоволен сейчас, когда все вокруг изменилось к лучшему? Такого, как Ивлианэ, конечно, нелегко приручить, с ним хлопот не оберешься, но что делать, из-за плохого характера человека не выкинешь! А потом, Ивлианэ ведь не какой-нибудь юнец. Постарел уж, поседел, и седина ему равно как щит. Трудно требовать от старого, обремененного годами человека, чтоб он сразу же зашагал в ногу с новым временем... Но зато такой, как Ивлианэ, не опасен. Ну какую опасность представляет старик, который, не таясь, ворчит и брюзжит! Да и то сказать, ведь он никогда не был обласкан жизнью и со дня своего появления на этот свет видел во всех и на каждом лишь своих мучителей... Он, вероятно, привык к этому и даже не мыслит, что может быть иначе. Нет, не станет Ивлианэ так сразу приветливо и доверчиво улыбаться жизни.

Порой, когда Гига вспоминал об Ивлианэ, ему казалось, что не под силу ему руководить людьми, но стоило представить остальных односельчан, как сомнения тотчас развеивались. Ведь на селе много людей, на которых он может опереться, кто не подведет, кто пойдет с ним плечо к плечу... Ангиа, Минаго, Анания и многие другие, сознательные, надежные, трудолюбивые... Нет, они не только не изменят ему, они помогут, подсобят и словом и делом. Особенно степенный, радивый, скупой на слова, но добросердечный Анания Арбеладзе, семья которого с детских лет близка Гиге. Ведь именно они, Арбеладзе, заботились об осиротевшей Дэсико, они были ее покровителями все то время, пока не приехал Гига, и именно их он должен благодарить за то, что не погас очаг в отчем доме... Ничего, Гига сторицей отблагодарит их за добро. Да, он будет работать, не щадя сил, чтобы поднять на ноги родную деревню... Но с чего начинать, с какого конца? Тяжелое бремя легло на его плечи. Чьему примеру он должен следовать, по чьим стопам идти на этом новом, незнакомом и непроторенном пути?..

На лестнице раздались тяжелые шаги. Отворилась дверь, и в комнату вошли те трое парней, которых Гига ожидал все утро. Отряхнули снег с шапок, с плеч, приветливо поздоровались с председателем колхоза, подошли к печке — погреться с мороза. Потом, не дожидаясь приглашения, расселись на лавке.

— Раненько загордились, ребята, — с упреком сказал Гига, попеременно оглядывая каждого. — Знали, небось, что с утра вас жду?

— Да так уж оно получилось, видишь... — застенчиво промямлил один из них.

— Твой сторож время-то не сказал, в котором часу нам прийти, — уже смелее проговорил второй.

— Ну, ладно, ладно... — Гига постарался скрыть недовольство.

Он намеревался сразу же взять суровый тон, но теперь решил все-таки говорить помягче.

— Слыхал я, ребята, — он снова окинул их взглядом, — надумали вы уходить отсюда...

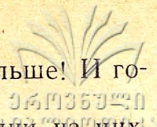
Парни смешались, потупились.

— Куда же путь держите?

Они молчали.

— И вы в город решили податься? Все туда же тянетесь, как некоторые наши умники?..

Вновь молчание.



— Чего ж от меня таитесь? Спрашиваю ведь, ничего больше! И город и деревня — все одно, наша советская страна, но...

— Так оно получается, что... уходим... — пробурчал один из них. Гига так и впился в него глазами.

— Уходите? — глухо повторил он. — А зачем? По какой причине? Опять молчание.

— Может, со мной работать не хотите, потому? Парни встрепенулись, заговорили разом:

— С чего нам против тебя быть? Наоборот, мы рады были... Если б остались, так только с тобой работать!

— Ну а в чем же тогда дело? Говорите прямо! Ведь так, ни с того, ни с сего, вы бы не решились свой угол покидать...

Гига вдруг почувствовал, что они не намерены ничего говорить, и продолжал:

— Знаете, что я вам скажу? Не годится это, ребята. Зря вы такое задумали. Нехорошо. Сейчас в деревне нужны как раз такие молодые, как вы. Верьте моему слову, с весны у нас все иначе будет, гораздо лучше жизнь станет... Вы, верно, слышали, скоро мы и машины получим... Сразу в гору пойдём... Что скажете?

— Отчего же, оно хорошо, — равнодушно проронил один.

— Эти машины вам поручим, вы будете ими управлять... И давайте-ка выбросьте из головы мысли об уходе, это никому добра не принесет, ни вам, ни нам... а? Верно ведь?

Он выжидающе оглядел их, но они молчали.

— Поняли, что говорю? Значит, останетесь, да?

Парни продолжали хранить упорное молчание.

— Остаётся, что ли?

И этот вопрос повис в воздухе. Гигу сбивало с толку их молчание. Он тоже умолк. С иронической улыбкой оглядел сидящих перед ним парней и вновь заговорил, но уже раздраженным тоном:

— Что, думаете, в городе руками шевелить не надо? На готовеньком жить будете, ручки на животике сложите?

— Да это и я знаю... оно ведь...

— Или на отцовский карман надеешься?

— Куда там, разве у моего отца столько есть, чтоб еще мне послать... — невесело усмехнулся парень.

— Ремесло какое-нибудь знаешь?

— Знать-то не знаю, но...

— А ты? — обратился Гига ко второму. Тот промолчал.

Гига вопросительно взглянул на третьего.

— Ты?

Тоже молчание.

— Что же вы со мной в молчанки играете, люди добрые!.. Слово обронить боитесь? — Гига чувствовал, что теряет терпение. — Почему все-таки уезжаете?

Они опять молчали.

— Да, да, объясните, почему туда рветесь? С грехом пополам азбуку выучили, этим думаете город удивить? — Гига уже не мог совладать с собой и повысил голос.

Но это лишь озлобило парней.

— Никого я удивлять не собираюсь, — осмелев, резко возразил один из них.

— Какая-нибудь работа в городе и для меня найдется, — пробурчал другой.

Гига вспыхнул.

— А здесь что, дел мало? Или не к лицу вам здесь работать?

— Мы от работы не бегаем. Только...

— Что — «только»?

Парень молчал, молчал, потом вдруг выпалил:

— Ничего!

Упрямство этих желторотых юнцов обескуражило Гигу.

— Что ж, ладно, — он с досадой махнул рукой, — с вами, видно, иначе говорить надо...

Скрутил сигарку, закурил, глубоко затянулся.

— Идите теперь и знайте — никуда отсюда шагу не сделаете! О чем вы все думаете, когда в разные стороны разбегаетесь? Кто же здесь, в деревне, останется? Пусть пропадом все пропадет, да? Каждый сопли-вый мальчишка будет тут выпендриваться, а я должен молчать да еще в путь-дорожку благословлять? Черта лысого! Сидите лучше на своем месте, не то... — он не договорил, что «не то».

Парни тяжело, словно нехотя, поднялись, неторопливо нахлобучили шапки. Подойдя к дверям, замешкались, будто что-то сказать хотели, но так молча и вышли один за другим.

Гига, нахмурившись, исподлобья глядел им вслед. Потом, когда хлопнулась дверь, расковырял золу в печке, ища уголек, чтобы прикурить погасшую сигарку. Уголька не оказалось.

Неожиданно снаружи послышался смех. Гигу почему-то больно кольнул этот смех, он швырнул в печку окурок, подошел к окну. По двору, перебрасываясь снежками и беззаботно хохоча, бежали парни. Постепенно их фигуры скрылись в густом тумане. Доносились лишь приглушенные голоса, но вскоре и они потонули в белом мареве.

Ни один из этих парней не спорил с Гигой, но безошибочным чутьем он знал, что ни уговорами, ни угрозами не добился ничего... Ничем не сможет он их удержать, рано или поздно они покинут деревню, уйдут по неведомым дорогам искать свою судьбу. И еще полбеды, если бы они были последними, кто уходит. А ведь за ними потянутся еще многие! Молодые, здоровые, сильные, один за другим будут они уходить из этой и без того маленькой деревушки... Кто же останется, на кого положиться? И ради кого тогда убиваться?

Он стоял у окна, погруженный в эти тревожные думы, и угрюмо глядел во двор. Снег плотным покрывалом укутывал неподвижные деревья. Вдруг на одном дереве шевельнулась ветка. Толстая снежная подушка мягко опустилась на землю. А ветка, освободившись от груза, легко раскачивалась.

Гига отошел от окна, натянул на себя куртку и вышел из конторы.

После долгого пребывания в жарко натопленной комнате он с наслаждением вдохнул снежный воздух. С утра навалило столько снега, что ноги глубоко проваливались в мягкий пышный ковер. Стояла такая тишина, что, казалось, слышно было, как падают снежные хлопья. Не заблудиться в этой белой пустыне мог лишь хорошо знакомый с местностью человек. Деревню невозможно было узнать. Словно по волшебству перенеслась она в какой-то неземной мир, где не было ни земли, ни неба — только белая беспредельность и белый туман. Мир обрывался на расстоянии двух-трех шагов, и дальше простиралось белое загадочное царство.

Неожиданно из тумана возникла женская фигура. Вероятно, женщина сбилась с дороги и поэтому шла какими-то зигзагами. Да, собственно, и не шла, а будто перекатывалась. Голова ее была повязана черной шалью, искусно разукрашенной снегом, поясицу тоже окуты-

вала толстая черная шаль. Женщина опиралась на палку. Видно, нелегко ей было идти.

Гига пригляделся. Да ведь это старая Мариам Арбеладзе! Он удивился и окликнул ее:

— Куда это ты собралась, тетя Мариам?

«Не стряслась ли какая беда? — подумал он. — Иначе что могло заставить ее выйти сегодня из дому и брести невесть куда по такой погоде».

Мариам, даже не полюбопытствовав, кто ее окликнул, торопливо бросила на ходу:

— По делу, сынок, по делу...

Голос ее глухо прозвучал из-под шали, закрывавшей чуть не все лицо.

— Неужто кроме тебя никого не нашлось?

— Никого, сынок, никого... — и, словно испугавшись, что ее заставят вернуться, она торопливо заковыляла дальше.

* * *

Мариам шла медленно, с великой опаской ступая каждый шаг, дабы не поскользнуться на каком-либо невидимом под снегом камне. Согнувшись чуть не в три погибели, она так пристально глядела себе под ноги, словно стремилась разглядеть землю под толщей снега.


Мариам потихоньку от всех вышла сегодня из дому. Скажи она, что уходит, ее бы, конечно, не пустили. Она это знала и — была не была — ушла украдкой. А идти ей было нужно, идти было необходимо! Удивительно, почему ни сын, ни невестка не желали этого понимать? И как только у Гаянэ язык повернулся — зачем, говорит, тебе ходить? Вот какую чушь брякнула! Взрослая женщина, мать семейства — и такая глупая! Эх, эта молодежь, ничего-то они не понимают, нет у них житейского опыта!

Для Мариам ее невестка Гаянэ была все еще ребенком, хотя той уже перевалило за сорок. А Анания, у которого давно серебрились виски, тоже все еще в мальчишках ходил...

Только свою старость чувствовала Мариам. Время бежало для нее одной, ласково обходя сына и невестку. Да, наверное, не долго топтать ей эту землю, жить осталось немного, по пальцам годы перечесть. Но не о себе печалилась она, нет — семья беспокоила и тревожила старую женщину. Сын, невестка, внуки... Как-то они без нее будут, как управятся со всеми бесконечными делами, когда ее не станет? Вот заботит Мариам, а о себе она не думает, черт с ней, она уже прожила свой век. Да и что хорошего видела она в жизни, чтобы жалко было покидать этот мир.

Да, семья... Но все же, как Гаянэ осмелилась заявить, что незачем, мол, ходить к Ефрему! Боже, прости ее, неразумную! Потом она сама поймет, как это важно. Конечно, Мариам правильно сделала, что убежала от них. Разве могла она не пойти к Ефрему, не узнать о его состоянии, когда именно от него зависит счастье Анания, Гаянэ, детей, счастье всей семьи в наступающем году! Кто сосчитает, сколько лет подряд Ефрем первым входит в их дом в первый день Нового года, сколько лет подряд он — их первый новогодний поздравитель — меквле!

В тот памятный год, когда он первый раз вошел в дом Мариам первого января, родился Анания. Правда, той же весной погибла телка,



которую Мариам привела в дом мужа — Датиа Арбеладзе — в приданое. Но ведь в ее гибели был виноват сам Датиа. Она заблудилась в лесу, и ее задрали волки. А вот в тот злосчастный год, когда Иорама забрала в солдаты, Ефрем не приходил поздравлять их. Иначе, о чем и говорить, бедный мальчик был бы сейчас жив. Сколько она проклинала за это Ефрема, одно время даже не разговаривала с ним, но он потом сторицей искупил свою вину, — именно он и никто другой был меквле в тот год, когда, всеми оплаканный, вернулся из плена Анания. С тех пор Ефрем уже постоянный и бессменный меквле дома Арбеладзе. И потому, конечно, судьба повернулась лицом к их семье... Эх, бедный Датиа, рано забрала его смерть, а ведь проживи он еще немножко, какая радостная, покойная старость была бы у него... Этот проклятый Пармен Ланча все грозился выселить Датиа, но бог рассудил иначе и выселил самого Пармена, да так, что теперь никто не знает, куда он девался и что с ним стало... Дом Пармена разрушился, двор зарос жесткой колючей травой... Вот как оно получилось-то... Да... и теперь эта глупышка, эта девчонка Гаянэ смеет учить ее, Мариам, уму-разуму — говорит, что напоминать Ефрему о завтрашнем дне совсем не нужно. Угораздило ж ее невестку! Зачем только она бога гневит! Ведь это он, всемогущий, наделил Ефрема такой легкой, счастливой ногой! Что ж, зря дал бог Ефрему такую силу? Правда, и то верно, Гаянэ беспокоится за свекровь, боится, чтоб она не простудилась. Ну и что же, пусть холод, пусть идет снег, пусть наваливает целые сугробы! Когда у человека такое важное дело, ему ни снег, ни выюга нипочем. А все же, как это Гаянэ сказала! Господи, прости уж ее, по молодости она, по неопытности...

Много-много лет подряд ранним утром первого января Ефрем растворял двери их дома, благословлял всех домочадцев, осушив заздравный рог, и — вместе с Ефремом на весь год входило в семью счастье. Кто же, как не Ефрем, первым войдет к ним завтра? Кто приведет Новый год? А ну как забредет какой-нибудь проходимец? Ох, не приведи господь!.. Ведь все, что нажили они за эти годы, — только благодаря легкой ноге Ефрема... Анания снес старый обветшалый дом и выстроил новый, с балконом, над калиткой навес сделал, а за домом такой виноградник развел, что вражий глаз от зависти лопнет... Да, все ясно и просто: бог наделил Ефрема чудодейственной силой!

Возвращение Анания, которого Мариам уж и не чаяла видеть, словно бы залечило ее старые раны, но временами заставляло еще острее переживать горечь утраты Иорама. Да, Анания вернулся с войны целым и невредимым, вот он, здесь, у нее на глазах. А младшего, любимого сына, не дождалась Мариам. Она была счастлива, глядя на Анания, но Иорам? И еще больнее ощущала она невосполнимую пустоту. Неизбывная скорбь грызла сердце матери.

Однако все на этом свете подвластно всесильному владыке — Времени. И жизнь, хочешь — не хочешь, а заставляет человека подчиняться своим законам. Постепенно все новые и новые заботы, повседневные радости, огорчения, волнения отвлекали Мариам от ее горя. Она привыкла к нему, скорбь ее перешла в глухую боль, утратила остроту. Мариам теперь лишь изредка вспоминала Иорама, и воспоминание это тихой грустью наполняло ее сердце.

На все воля божья, разве осмелится Мариам роптать на создателя, когда он осенил милостью своей весь дом! Значит, так должно было быть. Всевышний лучше знает, по каким путям повести жизнь человеческую...

Несколько месяцев назад узнала Мариам, что их виноградник с не-



которых пор принадлежит колхозу. Это известие поразило ее в самое сердце. Возмущенная, она с упреком накинулась на сына и невестку — почему, мол, от меня скрывали. И вообще, ведь место для виноградника оставил Датиа, да четыре года назад мы посадили новую лозу, кто теперь смеет там хозяйничать? Конечно, виноградник каждому — что бревно в глазу, зависть берет, так и норовят из рук вырвать. Но она, Мариам, хотела бы знать, кто это выискался, кто осмеливается присвоить себе то, что принадлежит Ананиа? Впрочем, конечно, уверена, что виноградник забирают на время, и в конце концов он так и останется собственностью семьи, это ведь яснее ясного! Скажите на милость, где слышано подобное дело? Уж как-нибудь Мариам не такого сына вырастила, чтобы кто-нибудь мог его по голове стукать! Где найдется второй такой честный, смелый и мужественный парень, как ее Ананиа? Всем наделил его господь, о лучшем сыне ни одна мать не сможет мечтать. Но все же одним она недовольна — не слышится он ее, не спешит женить старшего сына — Како... Да падут все его горести на бабушку, уж такой Како красивый и ладный парень, Мариам на него глядя, всегда Датиа вспоминает, — тот ведь тоже был красавец и удалец!... Да, и вот Ананиа упрямится, все твердит — рано еще; Гаянэ, конечно, ему подпевает... Сказать правду, еще не поздно, но покамест у Мариам душа в теле держится, она хочет увидеть счастье внука. Ради их же самих она торопится, о них печется, а когда уладит все эти дела, тогда и на покой можно. Но до тех пор она и права не имеет умереть, сложить на груди руки... Нет, сейчас самое время женить Како. И нужно это, потому как мальчик работает на шахте, может жить самостоятельно, чего ж ему в одиночку маяться? Двое младших внуков — Севарион и Илья, которые родились уже после возвращения Ананиа с войны, пока еще дети... Хотя и не так уж они малы, чтобы не могли помогать семье. Особенно Севарион. Вытянулся мальчишка, вырос, того гляди, отца догонит. Когда Мариам была в его возрасте, босиком бежала она по выгону, пасла скот, и ноги у нее были грубые, словно подошвы каламани. А теперь — иные настали времена, оба ее внука, и Севарион и Илья, с утра как заложат книжки под мышку и уйдут со двора, так до полдника их и не жди. И не босиком, как некогда Мариам, а в ботинках, да еще в новых, — старые носить не желают! Что ж, на здоровье, слава богу, есть у Ананиа столько, чтобы ни в чем детям не отказывать, но все-таки, если подумать хорошенько, не гоже это, чтобы крестьянские дети росли в такой холе и неге...

Не раз Мариам говорила об этом и сыну и невестке, да что толку! Они и ответом ее не устаивают, только рукой махнут, на том и кончатся все разговоры... Пусть бог пошлет им здоровья, разве она их упрекает! Но все же было бы лучше, если б они больше прислушивались к совету опытного человека. Мариам ведь только потому говорит, что душа у нее за всех болит, а то разве не знает она, что ходить в ботинках и чуствах гораздо приятнее, чем босиком? Однажды Ананиа даже рассердился на нее: «Совсем ты, матушка, из ума выжила», — говорит. Конечно, Мариам на это не обиделась, подумав, какая важность, если он так сказал... Ведь Ананиа — глава семьи, и пусть даже она сто раз его родная мать, он имеет право порой и на нее рассердиться. Так заведено господом богом... Словом, были бы они все здоровы, а больше не о чем ей печалиться. Вот ведь и сейчас только ради них решила она выйти из дому в эту стужу. С тех пор как позавчера у родника услышала она от женщин, что Ефрем, мол, занемог, — потеряла покой. Нынче ночью и сон такой приснился, что она почти уверена — услышанное от соседок похоже на правду. Поди-ка, не расстраивайся, коли это правда!

В последнее время Ефрем сильно сдал, он уже не был прежним Ефремом, это Мариам хорошо видела, но неужели так уж он плох, что и прийти, поздравить людей с Новым годом не сумеет? Болен! Ну и что ж, кто не болеет? Пусть потревожит себя немного и соизволит завтра прийти. А потом — пусть хоть и вовсе не встанет с постели! Как бы трудно ни было, Ефрем должен прийти, на что же другое он годен? Не будь у него счастливая нога, все одно было б — живи Ефрем на свете или нет. Вот жена у него хорошая. Если б не Сидония, Ефрем давно бы где-нибудь под забором сдох, как собака. Сидония в его доме и мужчина и женщина, на ней вся семья держится. Эх, тоже мне семья!.. Ни детей, ни чертей, сидят, друг на друга смотрят. Дом на дом не похож. Намедни, оказывается, взялась Сидония за топор и давай колоть бревно. Ну разве женское это дело — топором махать! Позор один, да уж что делать, коли в доме мужчины нет? Эта бедная Сидония вообще на человека уже не похожа. Правду сказать, стройностью и красотой она никогда не отличалась, но теперь! Так отошала несчастная, истаяла, ровно свечка восковая. Платье на ней словно на скелете болтается, так и кажется, стук костей услышишь. Она похожа на заплесневелого, вялого судака. Такой жалкий у нее вид, что сама смерть ее щадит, и время забыло о ней. Оба ее стороны обходят. Ефрем тоже будто отошел от этого мира, но и небо его не приняло. И застрял он где-то между тем и этим светом, в пустом пространстве, ни богу ни черту не нужен, ни небу, ни земле... Что положено человеку судьбой, должно свершиться. Кто и зачем будет убиваться из-за Ефрема? И если сегодня нужна еще его жизнь, так только для того, чтобы он завтра привел в дом Мариам Новый год... Но скажи, если Ефрем так занемог, что и подняться с постели не сумеет?!

Эта мысль привела Мариам в смятение. Утром она даже поделилась своими переживаниями с домочадцами, сказала невестке, что надо бы послать мальчика, узнать, что, в самом деле, с Ефремом приключилось, но Гаянэ наотрез отказалась и довольно резко добавила:

— Из-за ополоумевшего Ефрема в такую погоду ребенка посылать? Пусть его вытягивает ноги. И чего ты затвердила — счастливый меквле! Если уж он так направо и налево раздаривает счастье, приберег бы и для себя немного. Мальчика я не пошлю, и ты отсюда ни шагу чтоб не сделала! Не придет, и не надо. Чтоб большей заботы мне не дал бог! Как же, Новый год завтра не наступит, если этот выживший из ума старик не приплетется!

Не придет и не надо, а? Так она сказала? Вот это и мучило Мариам, потому-то она и не пощадила свои старые кости и, едва уллучив минутку, завернула в платок несколько яблок, закуталась в шаль и втихомолку вышла со двора.

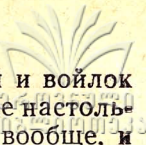
Дома хватились ее не сразу. Мариам любила обычно бродить по обширному двору. На день несколько раз, зачастую без всякой надобности, обходила она двор из конца в конец, обшаривала все закутки и, хоть все было в порядке, выискивала какое-нибудь неотложное дело. Это еще издавна вошло у нее в привычку, а уж с тех пор, как расширилось хозяйство семьи, обход и осмотр двора превратились в какой-то ритуал.

Однако прошло слишком много времени, а Мариам все не появлялась. Тогда Гаянэ заволновалась и послала ребят во двор.

Они тщательно осмотрели все закоулки двора, но, конечно, Мариам не обнаружили.

О том, что Мариам ушла из дому, знала только Царба.

Царба давно облюбовала себе местечко в углу у забора, под наве-



сом, где обычно рубили дрова, и лежала там день и ночь. Ей и войлок там постелили. Одряхлевшая собака все время спала. Шерсть ее настолько выцвела, что трудно было понять, какой масти она была вообще, и силы так истаяли, что их не хватало даже на то, чтобы залаять. Очень редко Царба решалась подать голос, — это бывало, если она замечала во дворе чужих. Тогда она тяжело подымала голову, невидящими мутными глазами всматривалась куда-то вдаль и хрипло кашляла.

Царба была уже ни на что не годна, но ведь она — старый верный страж дома, а кроме того, ведь когда была она еще косматым щенком, ее принес сам Датиа. У кого же поднимется рука ее убить! И Царбу кормили сывороткой, разбавленной теплой водой. Если забывали вовремя дать ей пищу, овчарка, словно сознавая свои былые заслуги, входила в дом, останавливалась у очага и терпеливо ждала, пока ее покормят.

Больше всех Царба любила Мариам. Казалось, она чувствовала, что старая хозяйка больше других жалеет ее. Стоило Мариам появиться во дворе, как Царба, собрав свои слабые силы, поднималась со своей подстилки и шла за ней. Остановится где-нибудь Мариам — и Царба тут же уляжется у ее ног, отдыхает, пойдет Мариам дальше — и Царба трусит за ней. Так они вдвоем обходили весь двор, и лишь когда хозяйка возвращалась в дом, Царба тоже отправлялась на свое место. Она укладывалась на войлоке и, утомленная обходом, погружалась в сон.

И сегодня, как только Мариам спустилась во двор, Царба вышла из своего закутка и последовала за ней. Ей было холодно и трудно идти по снегу, но она все же не покидала хозяйку. Мы, мол, вместе состарились, служа этому дому, и пока остались у нас какие-то силы, наш долг — присматривать за порядком.

Вместе с Мариам прошла Царба по двору, и когда та вышла за калитку, протрусилась за ней еще немного по улице, но убедившись, что хозяйка не собирается возвращаться, повернула обратно...

Мариам еще не знала, что с Ефремом, но вошла к ним во двор с ворчаньем — на всякий случай.

В дверях ее встретила Сидония.

— Что такое, что за напасть такая на твоего мужа? — вместо приветствия, с упреком обратилась к ней Мариам.

Сидония, вечно запуганная, робкая, что-то почтительно ответила Мариам, но та, по глухоте, не разобрала ее слов.

В полутемной комнате Мариам едва разглядела в углу тахту и направилась к ней. Ефрем навзничь лежал на постели. Голова его, похожая на какой-то серый ком, — длинные волосы и борода перенутились меж собой, — покоилась на мутке, Ефрем лежал молча и неподвижно, уставившись в потолок своим единственным глазом.

— Пожалуйте, Мариам, вот здесь присаживайтесь, — засуетилась Сидония, придвигая гостье низкий трехногий стул. Сама она примостилась на краешке тахты и окликнула мужа:

— Взгляни-ка, Ефрем, Мариам пожаловала тебя навестить!

Больной повернул голову и равнодушно посмотрел на гостью.

— Вот уж неделя, как он хворает, — говорила Сидония, испытывая неловкость за прием, оказанный Ефремом старой Арбеладзе, — совсем свалился бедняга.

Она еще что-то лепетала, но Мариам, захваченная своими мыслями, не разбирала слов, она слышала лишь голос. И почему-то ей казалось, что Сидония слишком хладнокровно говорила о болезни мужа.

Мариам медлила с подношением, которое принесла Ефрему. Яблочки лежали у нее на коленях, и Мариам крепко держала их обеими руками, словно боясь, чтоб не отняли.

Прошло немало времени, прежде чем она развязала платок и положила яблоки на постель. Ефрем поглядел на них, поглядел — и взял одно яблоко.

— А спасибо забыл сказать? — словно ребенку сказала Сидония, конечно, больше для того, чтоб Мариам слышала.

В прошлом, — то было давно, — суровый, порой и грубоватый Ефрем наводил страх на Сидонию. Она никак не могла свыкнуться с тем, что этот рослый богатырь — ее муж. Стоило ей слышать зычный рокочущий голос Ефрема, — он ведь никогда не умел тихо говорить, — сердце у нее в пятки убегало. А нынче Сидония так осмелела, что иной раз даже покрикивала на Ефрема.

Они были ровесники, но сейчас Сидония казалась гораздо моложе Ефрема. Раньше было наоборот — Ефрем всегда выглядел моложе, а Сидония и в молодости похожа была на старуху. В деревне немало шутили и смеялись — как, мол, эта хрупкая, маленькая, точно ласка, женщина вышла замуж за такого гиганта.

У Сидонии смолоду был пришибленный, боязливый вид. В беседы с соседками она не вступала, если на дороге ей встречался кто из мужчин, она, закрыв лицо головным платком и потупившись, тенью проскальзывала мимо.

Теперь же Сидония словно бы решила возместить все свои, неиспользованные в прошлом, права на жизнь. Она смело глядела на всех, громко разговаривала. Правда, внешне она ничуть не изменилась, выглядела так же, как и двадцать-двадцать пять лет назад — маленькая, худенькая, сухонькая, но крепкая, недоступная смерти. Так в декабре, когда с деревьев уже опали все листья, где-то на какой-то ветке остается один листочек. Он трепещет на ветру, но не поддается, не падает. Так прочно прирос и прикрепился он к ветке, что держится до самой весны, и только когда прорастают новые побеги и набухают почки, он волей-неволей уступает свое место вновь зародившейся жизни.

— Ты что же, встать-то не собираешься? — заговорила, наконец, Мариам после долгого молчания.

Ефрем не ответил. Он упорно пытался откусить кусочек яблока, но это оказалось ему не по силам.

— Узнаешь ты меня? — спросила Мариам и ближе придвинула стул.

— Узнаю... — безразлично отозвался Ефрем.

— Ну? И что же ты думаешь?

Ефрем не постиг смысла вопроса и окинул Мариам ничего не выражающим тупым взглядом.

— Тебя спрашивают, что делать-то будешь! Да оставь ты это яблоко! — Сидония вырвала у него из рук обгрызанное яблоко.

— Сама оставь меня, чего привязалась! — вдруг разозлился Ефрем и перевернулся на бок.

— Вот такой он все время злющий, — тихо сказала Сидония, — когда спрашиваю, на кого сердиться, — на тебя, говорит, на всех, на самого себя, на господу бога... Совсем душу загубил, непутевый...

Неожиданно Ефрем повернулся лицом к женщинам и закричал:

— Все, да, все мне надоели! И бог ваш тоже надоел! Никого знать не хочу!

Обе женщины, поджав губы, понимающе поглядели друг на друга. Некоторое время они молчали. Потом, решив, что Ефрем уже успокоился, Мариам несмело заговорила:

— Не придешь, значит, ко мне? А? Слышишь, что говорю?

— Слышу, — пробормотал Ефрем.

— Чего? — не разобрала Мариам. — Так в постели и должен валяться?

— Должен валяться... — невозмутимо повторил Ефрем последние слова. Он снова принялся за неподатливое яблоко, но опять не сумел откусить и недовольно отбросил его прочь.

— Значит, не придешь? — возмутилась потерявшая терпение Мариам.

В глазах Ефрема промелькнуло нечто похожее на удивление, словно он вспомнил о чем-то, но тут же это выражение исчезло и глаза опять потухли.

— Поздравлять не придешь с Новым годом? — не сдавалась Мариам.

— С Новым годом... — Ефрем опять повторил последние слова. Повторял он, конечно, бессознательно. Но почему-то тяжело вздохнул, снова взялся за яблоко, повертел его в руках, положил на постель, опять взял и наконец швырнул в сторону.

— Должен прийти, нельзя не прийти... — проговорил он вдруг.

Мариам не расслышала сказанного, только увидела, как шевелятся бледные, обросшие серой щетиной, губы больного.

— Бормочет что-то! Разве его словам можно верить, — махнула рукой Сидониа.

Некоторое время все трое молчали. Тишину нарушила Сидониа. Сперва она пробормотала что-то невнятное, а потом уже отчетливо проговорила:

— Он меня доконал, он загубил мою жизнь!

Ефрем, который до сих пор бессмысленно глядел в потолок, вдруг взбеленился, выкатил глаза и заорал:

— Кого я загубил? Это вы мою жизнь загубили! Все вы! Хватит, дайте мне покой! Никого знать не хочу! Никого, слышите!

Женщины не ожидали такого взрыва, обе растерялись и в смятении усталились на Ефрема.

У Мариам погасла последняя надежда. От этого человека, который теперь уже ни к мертвым, ни к живым не принадлежал, нечего было ожидать. Сразу поникнув, разочарованно глядела она на Ефрема. У нее не нашлось сил даже на то, чтобы встать и уйти из этого дома.

Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошел запорошенный снегом мальчик.

— Ах, чтоб я ослепла! — всполошилась Мариам. — Это ты, Севарион? Кто же тебя из дому-то выпустил?

— Мама говорит, чтоб ты сейчас же возвращалась! — одним духом выпалил мальчик.

— Где, где, мама, сынок? — вставая, спросила Мариам. Она уловила только одно это слово.

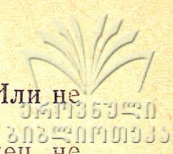
Вместо ответа Севарион подошел к бабушке, подхватил ее под руку и буркнул:

— Ну идем, идем домой!

Мариам в последний раз оглядела больного, тяжело вздохнула и последовала за внуком.

Они гуськом шли по деревенским улицам: Севарион впереди, Мариам — за ним. Всю дорогу до дому она ворчала и бурчала что-то себе под нос, словно готовясь к встрече с невесткой, которая на этот раз — Мариам знала — не ограничится легким упреком.

— Беспризорный ты, что ли? Как мать тебя в такую погоду отпустила? Гляди, чистое светопреставление на дворе! Что я, без тебя дорожку бы не нашла? Где это слыхано, чтоб мать о ребенке не заботилась!



Ох я несчастная, до чего дожила! Родного сына не пожалеть, а? Или не сын ты ей больше?

Севарион сперва терпеливо слушал эти рассуждения. Наконец, не выдержав, резко прервал:

— А ты чего бродишь? Сама не знаешь, зачем и куда идешь, никак дома не усидишь!

Это было уже слишком! Мариам даже обидно стало.

— Не усидишь? Ты смотри на него! А что же мне делать-то, если все вы такие бестолковые? Сами ничего не смыслите, и я тоже должна рукой на все махнуть? Валяется он в постели, этот грешник непокаявшийся, и нет ему ни до чего дела! Что, хорошо это, радоваться нам, что ли? Не должна была я узнать, как он? Недаром мне осталось жить, и тогда — горе мне, — кто за всем тут присмотрит, что с вами станется?

* — Ну ладно, ладно, идем...

Мариам догадывалась: раз внук настолько осмелел — пререкается с ней и даже дерзит, — значит, дома здорово взволновались, подняли переполох и встретят ее бог знает каким криком.

Если бы хоть визит к Ефрему принес желаемый результат, Мариам сама бы на них накинулась. Но увы, чего она добилась? Ничего! Столько мучилась, на старости лет из дому тайком сбежала, брела по бездорожью в этот холод и снег, а что вышло? Меккле нет как не было, и надежды на него никакой. Да еще дома ее ждут неприятности...

Она поворчала еще немного, потом умолкла и уже покорно шагала вслед за внуком.

* * *

Гига издали заметил дым над крышей своего дома. Клубами валил он из трубы, но ветерок не давал ему подняться вверх. Серыми ключьями дым растекался в стороны, поглощая беспорядочно кружившиеся снежинки.

«Щедрая она у меня, последнего не пожалует, только бы гостю угодить», — с любовью подумал Гига о сестре.

Когда Гига вошел в комнату, Дэсико, как он и ожидал, хлопотала по хозяйству. Присев на корточки перед камином, она кочергой ворошила огонь. Оглянувшись на стук распахнувшейся двери и увидев брата, она бросила кочергу, вскочила, с улыбкой подбежала к нему, заботливо отряхнула снег с его широких плеч и внезапно, привстав на цыпочки, крепко обняла.

— Погоди, попрыгунья, я ведь мокрый весь, видишь! — Гига ласково отвел ее руки.

Но Дэсико снова потянулась обнять брата.

— Ладно, ладно, бесенок ты этакий, верно, набедокурила что-то, а? — улыбнулся Гига и подумал: «Видно, наготовила всего через край и боится, что рассержусь».

Однако он заметил, что Дэсико слишком уж взволнована и смущена. Казалось, она хочет что-то сказать и никак не может решиться.

Но очень скоро Гига понял, в чем дело. Снимая с себя мокрую от снега куртку, он увидел, что на постели Дэсико кто-то спит, укрывшись с головой одеялом. На полу, перед постелью, небрежно валялись туфли на каблуках, на спинке стула висело платье.

Гига вопросительно посмотрел на сестру.

Тихо, — но не потому, чтоб не потревожить спящую, — Дэсико пролепетала:

— Это Элисо...

Гига невольно вздрогнул. Еще раз взглянул на постель, потом мед-

ленно прошел в угол, повесил на гвоздь куртку, так же медленно вернулся к камину, сел у огня.

— Она утром пришла... сразу после того, как ты ушел. Из города приехала на попутной машине, к родственникам... и к нам заглянула...

Гига рассеянно ковырял щипцами ярко пылающие поленья. С треском, снопами разлетались искры. Какие родственники здесь у Элисо?.. Нет, слышном уж мало похоже это на правду.

А голос Дэсико звучал все так же тихо и виновато :

— Что мне было делать? Не могла ведь я перед ее носом двери захлопнуть. И жалко мне ее стало: лицо у нее даже посинело от холода...

Гига угрюмо слушал сестру. От его влажных брюк подымался пар. Время от времени он потирал ладонями колени — слишком близко сидел от огня, припекало.

— Правда, она очень стеснялась, ни за что не хотела зайти. Тебя стеснялась... Не должна была я ее приглашать, но знаешь, очень уж несчастный был у нее вид...

Дэсико оправдывалась, но по тону ее Гига чувствовал, что неожиданная гостья ей вовсе не неприятна. Впрочем, он великолепно знал и помнил, как дружна была Дэсико со своей невесткой.

Дэсико глубоко переживала, когда Элисо ушла от них. Она считала оскорбленным не только брата, но и себя. С горечью вспоминала она тот апрельский субботний день, когда Элисо, совершенно спокойно, пожалуй, даже с чувством какого-то радостного удовлетворения уложила свои пожитки в чемодан, вскинула его на плечо и ушла со двора. Дэсико полагала, что невестка отправилась в город проведать сестру. Но шло время, и от Элисо не было ни ответа, ни привета. Тогда ей послали письмо, и она ответила, что больше никогда не вернется в дом Канчавели, потому что не хочет жить с Гигой.

Для Дэсико так и осталось загадкой, что вынудило Элисо столь внезапно покинуть их кров и уйти куда глаза глядят. Чего только она не передумала, но ничем не смогла оправдать поступок невестки. А когда спросила брата, почему Элисо так поступила, тот ответил:

— Цыганская кровь в ней, потому... Да ну, сдалась тебе эта женщина!

Его слова, сказанные с горечью и злобой, ничего не объяснили Дэсико. Одно лишь она заметила — разговор на эту тему неприятен Гиге. С тех пор она никогда ни словом не вспоминала невестку. Будто и вовсе забыла ее имя. Если кто из соседей заводил речь об Элисо, Дэсико только отмахивалась — не стоит, мол, о ней говорить, но сама много думала обо всей этой истории. Она любила Элисо и, несмотря ни на что, не могла выбросить ее из сердца.

Гига познакомился с Элисо в городе, когда работал на заводе. Элисо к тому времени была замужем уже вторично. Первый ее муж — плотник, человек хмурый и замкнутый, пил горькую и допился-таки до смерти. Не прошло и двух месяцев, как вдова сняла траур и вышла замуж за немолодого парикмахера, инвалида войны, с протезом вместо левой ноги. Его маленькая хибарка ютилась на краю заводского двора. Клиентов у него всегда было хоть отбавляй, особенно молодых парней. В свободные часы рабочие любили сиживать на лавочке перед парикмахерской, беседовать о том, о сем и перекидываться шутками с остроумным парикмахером. Веселый, словоохотливый, он не обращал внимания на то, кто сколько ему платит за бритье и стрижку, всегда охотно давал деньги взаймы, когда кто из ребят оказывался в нужде, и никогда не ругался, если даже долг его записывали на лед.

Этот отзывчивый, приветливый человек легко привлекал к себе сердца. Однако оказалось, что не менее притягательной силой обладает и его супруга. Молодая женщина умела найти ключик к людям, и среди клиентов ее мужа не было ни одного, который бы не посидел лишнюю минутку на лавочке, если жена парикмахера крутилась поблизости. Парикмахер замечал, что многие молодые люди стали его постоянными клиентами ради прекрасных глаз Элисо, но подобная ситуация отнюдь не печалила его, наоборот, он даже находил в ней определенную выгоду. Поговаривали, якобы жена его так наставляет. Злые языки утверждали и то, что Элисо, невзирая на мягкий характер, держит мужа под башмаком. Это было не очень далеко от истины. Элисо вообще обладала редким даром — с милой улыбкой, даже не повышая голоса, она могла самого черта в овечку превратить.

И вот здесь, сидя на лавочке перед парикмахерской, Гига впервые увидел Элисо. Постепенно он все чаще стал с ней видеться, а затем, не без ее содействия, снял поблизости комнату.

Гиге нравилась работа на заводе, и он решил обосноваться в городе, перевезти сюда и Дэсико. Но внезапно намерения его изменились, и он уехал обратно в деревню, но уже не один, а вместе с женой. Это была Элисо.

Сестра и все соседи благосклонно встретили горожанку. Правда, на их взгляд она была очень уж худосочной и поэтому не могла считаться красивой женщиной. Но очень скоро новобранная завоевала сердца сельчан. Дом мужа, который был таким угрюмым, запущенным, словно в нем и люди-то не жили, превратился в уютный, гостеприимный очаг, где охотно и часто стала собираться молодежь.

И конечно, когда Элисо спустя год счастливой супружеской жизни вдруг убежала от мужа, всполошилось все село. Об этой истории много говорили, мусолили и так и эдак, но тем не менее Элисо все без исключения вспоминали тепло и сожалели, что ее уже не было среди них. Однако постепенно все забылось, никто уже не вспоминал беглянку, и самый облик ее стерся в памяти соседей.

Гига уже присмотрел себе невесту. Дэсико тоже пришелся по душе выбор брата и она с нетерпением ждала того дня, когда их порог переступит новая невестка и дом вновь оживет. А теперь вот неожиданно-негаданно вернулась Элисо, два года назад так внезапно и загадочно покинувшая их кров.

Нет, не обрадовал Гигу ее приезд... На всяк роток не накинешь платок — теперь в селе пойдут суды-пересуды, сплетни... С какой стати объявилась она в доме, который так оскорбила? Зачем вдруг вспомнила о Гиге, что ей надо?

— Поесть у тебя ничего не найдется? Я здорово проголодался, — сказал Гига сестре.

Та поспешно начала накрывать на стол.

Она чувствовала, что брат не расположен беседовать, и молча прислуживала ему.

Гига поел с аппетитом все, что подала Дэсико, и снова уселся перед камином. Он все так же молча курил, но, как показалось Дэсико, уже немного отошел.

Швырнув недокуренную сигарету в огонь, Гига поднялся.

— Пойду я, что ли... — сказал он, надевая куртку. — Знаешь, я, может, не приду сегодня домой...

— Как тебе будет угодно, — покорно отозвалась Дэсико.

И в тот момент, когда он перешагнул порог, Элисо приподняла го-

лову с подушки. Она успела увидеть лишь его спину и то, как захлопнулась за ним дверь.

Глаза ее с тревогой обратились на Дэсико. Но Дэсико молча и неподвижно стояла возле дверей. Тогда Элисо с явной неохотой поднялась с постели, оделась и уселась на тот же стул перед камином, на котором всего несколько минут назад сидел Гига.

— Я долго спала, да? — словно извиняясь, спросила Элисо.

Она попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась, — только резче и глубже обозначились страдальческие морщинки у рта. После сна она выглядела гораздо старше своих лет. Лицо, хранившее следы подушки, казалось помятым и тусклым. И вся она была какая-то тусклая, поблекшая. Она хотела было спросить, как отнесся Гига к ее появлению, но не нашла в себе сил. Впрочем, уже то, что он ушел из дому и Дэсико ни словом не обмолвилась о брате, говорило само за себя. Совершенно очевидно, что хозяйину дома неприятна незваная гостья.

Сейчас она очень сожалела о своем приходе сюда, ругала себя... Но было поздно. Да, она ошиблась, но, уж коли пришла, изволь набраться терпения, посмотреть, что будет... Ясно, Гига встретит ее холодно, может, и вовсе выгонит вон... Лучше всего сейчас же уйти, но она так устала, и до города так далеко... Да и кроме того... Словом, будь что будет, но теперь она не может уйти отсюда.

— Меня никто не видел, когда я шла к вам, — неожиданно сказала она Дэсико.

Дэсико не уловила скрытого смысла этой фразы и наивно отозвалась:

— Конечно, кто в такую погоду из дому выйдет...

— Так я немного отдохну и пойду, — совсем тихо, словно про себя, проговорила Элисо, — никто и не узнает, что я здесь была.

Тут только Дэсико осенило.

— Что ты говоришь, Элисо! — горячо воскликнула она. — Куда тебе идти? Раз уж пришла, оставайся.

Ей хотелось как-то обогреть Элисо, сказать, что оба они — и она и Гига, рады ее приезду, но — не смогла покривить душой, смолчала.

Обе — и золовка, и невестка — лишь ласково поглядывали друг на друга, но беседу завязать не решалась ни одна, ни другая.

Наконец, после долгого и тягостного молчания, Элисо спросила:

— Ну как, управилась, все успела к завтраму?

Дэсико с досадой махнула рукой.

— Куда там, еще столько чего сделать надо... Ничего, успею, времени много...

Так она сказала, но в душе чувствовала, что у нее начисто пропала охота и настроение что-либо делать. На черта ей это сдалось, если все оборачивается так скверно.

Элисо встала.

— Давай, помогу тебе!

— Ой нет, разве я осмелюсь тебя утруждать! — воскликнула Дэсико.

— Не стыдно тебе, зачем ты так говоришь! — укоризненно проговорила Элисо и, засучив рукава платья, принялась за дело.

Работа сразу преобразила ее, недавнюю усталость как рукой сняло, она снова стала той прежней Элисо, какой знала и любила ее Дэсико, — живой, проворной, ловкой, ее стройное тело обрело былую легкость, вся она как-то сразу помолодела. Дэсико, глядя на невестку, тоже загорелась. Она больше не думала о том, что будет дальше, что скажет Гига, — она жила этими минутами. Сейчас ей даже казалось,

у Ефрема. Не зря ведь свекровь все утро сетовала на болезнь многолет-
него меквле!..

Предчувствие не обмануло Мариам: едва она переступила порог, Гаянэ яростно накинулась на нее:

— Ну, что тебе сказал этот полоумный? Золотая, мол, нога у меня. да? Если он не притащится, рухнет наш дом? Очень хорошо, пусть не приходит, пусть себе вытягивает обе ноги!

То, что Гаянэ проклинала Ефрема, уже не трогало Мариам, она ведь сама убедилась, что Ефрем не придет завтра. Потому теперь все равно, хочешь проклинай его, хочешь благословляй. Но обидно было то, что ее, Мариам, заботу о благе семьи никто ни в грош не ставит... Только мысль о счастье ближних заставила ее, старую женщину, в такую непогоду идти к Ефрему и справляться о его здоровье. Ведь не большого она пошла навещать! Если б у нее была хоть крошечная надежда на то, что Ефрем придет завтра, как обычно, она, уж будьте уверены, заставила бы замолчать невестку, дала бы ей достойный ответ, но при таком положении что она может сказать в свое оправдание? Ничего она не добилась, значит, сиди себе и помалкивай...

Мариам время от времени порывалась что-нибудь сделать по хозяйству, но Гаянэ тотчас выхватывала все у нее из рук. Старушка умоляюще смотрела то на одного, то на другого и убедившись, что сочувствия ждать не от кого, села в сторонке и, поджав губы, стала наблюдать за суетившимися домочадцами.

В семье издавна было заведено: после ужина Анания усаживал рядом с собой детей и начинал разучивать с ними песни. Это был неписанный, но непреложный закон. Какой бы усталый ни был Анания, без пения он не отпускал детей спать. Он считал пение после ужина не пустым развлечением, а нужным делом, как, скажем, на ночь засыпать золой угли в очаге, чтоб сохранить до утра жар.

Пение Анания считал серьезным занятием, достойным и обязательным для настоящего мужчины. Ведь и его, когда он был маленьким, так учили. Пение так же необходимо мужчине, как кинжал и плуг. На свадьбах, за праздничным столом, в дни храмовых праздников народ всегда выделял певцов, окружал их почетом и любовью.

Потому Анания самолично обучал малышей пению и, был ли он в хорошем расположении духа или в дурном, всегда пел вместе с ними. Дети привыкли к раз навсегда заведенному порядку, и только после того, как бывала допета последняя песня, дрема охватывала их и они отпавлялись спать.

Но в этот вечер Гаянэ не разрешила им петь. Едва лишь дети уселись на обычное место, рядом с отцом, она тотчас напустилась на них:

— Чего вы глаза тарищите, чего ждете? Не могу я сейчас слушать ваше вытье! Марш отсюда!

Потому-то Севарион, проснувшись ранним утром Нового года, не знал, как ему поступить. Да, Новый год, который должен принести счастье и к встрече которого с таким рвением готовились старшие, уже начался, но сменила ли мать гнев на милость? А вдруг она так же, как вчера, сердито сверкнет на него глазами?

Илья и Севарион молча переглянулись, и ни один не осмеливался встать. К тому же, им казалось, что еще слишком рано, потому что в доме царила полная тишина и даже дымом не пахло.

Продолжение следует

Из книги лирики

* * *

Ничего я больше не любил,
кроме дома в горной деревеньке,
кроме скрипа старой колыбельки...
Сновиденья детства я навеки
всей душой запомнил, не забыл.

Ничего я больше не любил,
кроме пашни, голову пьянящей,
кроме ручейка с водой журчащей...
Время мчалось птицею летящей,
только я об этом не грустил.

Ничего я больше не любил,
кроме слов радушного привета,
радостной улыбки, полной света,
и любви, которая мгновенно
исцеляет, прибавляя сил.

Ничего я больше не любил,
кроме той работы благодатной
в сенокос, да на заре прохладной,
кроме той усталости отрадной
рядом с теми, кто для сердца мил.

Ничего я больше не любил,
кроме взора девушки прекрасной,
что была моей мечтой напрасной,
и моей надеждою неясной...
Я об этом память сохранил.

Ничего я больше не любил,
кроме песни той неповторимой,
песни бесконечной и старинной...
Тот, кто пел ее в земле родимой,
всю печаль в ее словах излил.

* * *

На стене кинжал висит
с черной буркой рядом.
Бурка черная дрожит
рядом с тем булатом.

Не пойму я, отчего
в бурке дышит буря...
Стражи дома моего
тот кинжал и бурка.

Перевод с грузинского С. Куняева

Шалва АМИСУЛАШВИЛИ

БУДАПЕШТСКОЕ УТРО

Медленно просыпалась страна,
Утро над Будапештом рдело...
Больничной палаты бела стена.
Картина на нас со стены глядела:
Бык — как танк, как пушки — рога,
И женщина на спине быка.

Юноша смелый вступил с ним в бой,
Взял быка за рога руками.
Бык тяжелой мотал головой,
Пускал из ноздрей дым и пламя.
Бился смельчак, не жалея сил —
Насмерть злого быка сразил...

Сосед по палате — мадьяр, солдат —
Мой взгляд проследил и, картину заметив,
Сказал: — Особый здесь замысел, брат,
Не просто выдумки древние эти...
Умолк, поглядел на меня в упор,
Потом не спеша продолжал разговор:

— Европа, поднявшаяся с земли,
Вчера трепетала, как женщина эта
На бычьей спине — но ее вы спасли,
И вам благодарна вся наша планета.
Вы крепкой рукою низвергли быка,
Ему обломали под корень рога!..

...Плывет над Москвой весенняя ночь.
Цветеньем черешен напитан воздух.
Огни фейерверка смогли превозмочь
Сиянье звезд — и померкли звезды.
Вот вспыхнули разом гирлянды ракет —
Желтый, зеленый, оранжевый цвет!

Пушки, как вздыбленные слоны,
Подняли хоботы-дула во гневе,
Чтоб над просторами нашей страны
Звезды искрились в мирном небе.
— Пушки грохочут? — Пушки поют!
Сегодня праздник!
Сегодня салют!

ЧЕРТОВ МОСТ

Хребет повис между вершин.
На нем — спиной змеиной —
Петляет узкая тропа,
Ползет хребту на спину.
Когда взрезает брюхо туч
Хребта гранитный нож —
«Не здесь ли ад?» — вопрос встает,
И душу гложет дрожь.

А если облаков гряду
Пробьет навилет солнце,
И, как отара от волков,
Туман со скал метнется —
Тогда возникнет вмиг пейзаж
Волшебной красоты.
«Э-ге, разверзлись небеса!» —
Невольню крикнешь ты.

Немного голову нагни —
Чуть-чуть, чтоб не упасть.
Глухая пропасть под ногой
Седую скалит пасть.
Направо мчится Алазань,
Иори — напрямик.
Водой насыщенный туман
К груди хребта приник.

Но вот тушинец-проводник
Командует певуче:
«Равнинный житель, берегись!
Не поскользись на круче!»
Я рукавом закрыл лицо —
Не соскользнуть бы вниз!
«Будь мужественен до конца!» —
Подхлестывает мысль.

Хребет зовут здесь «Мост земли» —
В страну небес дорога.
А я бы «Чертовым мостом»
Назвал его, ей-богу!
Твою ошибку этот мост
Увидит только раз —
Коль ты, как молния, не быстр,
Не ловок, словно барс.

Здесь Красота, и Жизнь, и Смерть
Идут тропой отвесной —
Все вместе. И побитым псом
К ногам их жметесь бездна...
И я, в мечтах и в облаках,
Всесильный, точно маг,
Шепчу — а, может быть, кричу? —
«Ведь и в искусстве так!»

Дедушка Симон

РАССКАЗ

Перевод с грузинского А. Абуашвили

После первых петухов дедушка Симон ворочается в постели, как вертел. Вытаращив спросонья глаза, он долго смотрит на почерневший потолок. Потом ему начинает казаться, что из всех щелей в черном потолке, ключьями пакли свисают его неотвязные мысли. Дедушка Симон решает было убежать от них, пробует снова заснуть, но, в конце концов, махнув рукой, зарывается в эту паклю с головой. И не слышит он тогда ни стука стенных часов, ни приглушенного мяуканья пестрой кошки Тигры, ни даже дыхания своей Даруа. Паутина мыслей щекочет дедушке Симону ноздри, тоненькие мочки ушей, высохшие, увядшие, словно изжеванные, щеки. Все глубже уходит он в свои мысли, а потолок тем временем из черного становится серым, потом на потолке, освещенном первым лучом солнца, проступят в коричневых узорах дождевых потеков какие-то странные предметы. Некоторые похожи на баранью голову, некоторые — на собачью. Одни напоминают хорошо ухоженную бахчу, другие — заросли терновника со стройными рядами ореховых деревьев по обеим сторонам.

Думает дедушка Симон, все думает. В этих думах застанет его утро. Рассветает, и дедушка Симон перекинет за край кровати худые ноги. Болтаясь на весу, качнутся они сами взад-вперед, похрустят хотя бы по разочку в суставах, а потом повиснут неподвижно.

С трудом, медленно натянет дедушка Симон вылинявшие домашние брюки. Просунет ноги в шлепанцы с подошвами, истончившимися, словно обмылок, которым пользуются долго и экономно, обопрется о кизилковую палку, до блеска отполированную прикосновениями его ладоней, и, стуча палкой, шаркая шлепанцами, выйдет во двор.

Пока солнце не согрело землю, дедушка Симон успеет полить грядки салата и лука. Разрыхлит затвердевшую почву под персиковыми, вишневыми, черешневыми и грушевыми деревьями, то тут, то там посрывает, изотрет пальцами в порошок сухие трубочки листьев, изъеденных червями. К тому времени солнце уже припечет, и дедушка Симон присядет к столику, поставленному в тени вишни...

Весь день проведет он в саду. Потом стемнеет, и тогда заторопится дедушка Симон к постели, завернется в одеяло, как червь в яблоневый лист, и примется ждать сна. Долго будет ждать и наконец, с грехом пополам, уснет. А едва прокричат первые петухи, опять начнет крутиться и ворочаться в постели.

Интересно, с чего это так ворочается дедушка Симон? Что за горе точит его сердце? Может быть, дедушка Симон просто болен, а?! Разве ты болен, дедушка Симон?! Да, болен ты, болен!.. С тех пор, как вокруг твоего чистенького, как божья коровка, дворика понастроили со всех сторон эти шестиэтаж-

ные дома, с тех пор и потерял ты сон. Страх угнездился у тебя в сердце, страх за судьбу твоего сада. А что сделала тебе твоя Даруа, дедушка Симон, почему ты больше не разговариваешь с ней?.. В чем провинилась она?

А в том она провинилась... В том и провинилась, что не налюбуется на новые дома. Потому и стал к ней так холоден дедушка Симон. Он все видит, все замечает. Когда дедушка Симон копошится в саду, его половина Даро нет-нет да и улизнет из дому. Помедлит у калитки, поглядит еще разок на увлеченного работой мужа и выйдет на улицу. Остановится у выросшего по соседству нового дома: сперва рассмотрит его снаружи, потом подойдет поближе, проведет загрубевшей ладонью по блестящему метехскому кирпичу, заглянет в открытую дверь и скроется внутри здания...

Прокричат петухи, снова рассветет и стемнеет, потом снова стемнеет и снова рассветет...

И вчера стемнело. Вчера стемнело раньше, чем позавчера и позавчера. Вчера стемнело в полдень, когда вернулась домой Даро, когда вместе с ней вошли во двор несколько человек. Сначала при виде незнакомых людей дедушка Симон хотел было как хозяин дома выйти им навстречу, но он только подумал об этом... А потом... А потом сделал даже несколько шагов в их сторону, но остановился рядом со старым персиковым деревом. На какой-то миг у него подкосились ноги, пошатнувшись, он схватился рукой за ствол персика. Кора у старого дерева была шершавой, как напильник, ветви — черные, словно их вымазали дегтем. Некоторое время дедушка Симон стоял так. Потом что-то стало жечь ему руку. Дедушка Симон посмотрел на свою ладонь, оказывается, он рассадил ее в кровь. Он поднес ладонь ближе к глазам, она была желтой, очень желтой. И несколько красных полос извивалось на ней. А за ладонью ничего не было вид-

но: ни майских черешен, ни калитки, которую бросили распахнутой настееж, ни тех незнакомцев в раскрученной рулеткой в руках.

Интересно, сколько же времени простоял дедушка Симон у старого персика?

...Наконец он повернулся, заковылял к дому. Гладкую кизилковую палку он взял теперь в левую руку, правую держал у глаз, все рассматривая ее изумленно.

Потом дедушка Симон приставил палку к стене, рядом с кроватью. Поднес к глазам и левую ладонь. Она тоже была желтой, такой же, как правая, только не было на ней красных полос.

Потом он закутался в одеяло. Прикрыл глаза обеими руками. И стемнело...

И опять закричали петухи...

Инженеры долго обмеряли садовый участок. Пересчитали деревья: одно, два, три... двадцать... тридцать... Составили акт, в самом низу его Даро поставила большой крест.

Дали им две комнаты в новом доме, но и двух раз не заглянул во вторую комнату дедушка Симон. Деньги, выплаченные ему за фруктовый сад, долго лежали на столе, лежали, лежали, а потом Даро завернула их в какую-то тряпку и зачихнула куда-то...

Лучи солнца давно уже скользят по деревянной спинке кровати с резными львиными головами, когда дедушка Симон просыпается. Некоторое время он лежит неподвижно. Затем садится на кровать, свешивает ноги. Они все так же расквашиваются на весу, все так же потрескивают в суставах, но после того, что произошло, у дедушки Симона совсем плохо стало со слухом. Больше не слышит он хруста своих колен... Глаза-то у него еще прежние: видит дедушка Симон, как ходит и ходит маятник старых стенных часов. Вот только стук их уже не доносится до него. И крика петухов тоже давно не слышал де-



душка Симон. «Наверное, нет больше петухов в окрестности», — думает он.

Поднявшись, он просеменит к умывальнику, плеснет на лицо двести пригоршни воды. Потом садится за чай. Даро — та чуть свет уже на ногах, но чай она пьет тоже в это время. «Пьет—ну и пусть пьет!» Дедушка Симон смотрит в окно, а Даро на подушку Симона.

Потом он опять плетется к кровати, обходит ее и усаживается на подоконнике. Свесит ноги в узком свободном промежутке между окном и кроватью и сидит так до самого вечера. Даро бесшумно слоняется по комнатам, хлопочет на кухне. Потом готовит себе ванну и часа полтора не вылезает из воды: дождалась-таки, плещется в своей ванне, как утка...

Двор усыпан битым кирпичом и известкой. Часть деревьев выкорчевали при расчистке площадки под фундамент нового дома, другие пали жертвой экскаватора и огромных грузовых машин, когда они разворачивались в тесном дворе.

Только одно грушевое деревце в углу двора уцелело. Да и вокруг него навалены такие горы кирпичных обломков, что деревце еле дышит.

Даро радуется, когда видит поднявшегося с постели и прильнувшего к окну мужа: мой-то поправился, махнул рукой на свое горе, врачей слушается...

После захода солнца, прежде чем подобрать ноги и залезть в постель, дедушка Симон стершимся кончиком карманного ножа делает зарубку на кизиловой палке. Даро думает, что, возясь с палкой, он просто развлекается... «Думает—ну и пусть думает!..»

Одна зарубка означает один день. В марте дедушка Симон сделал тридцать одну зарубку, и начался апрель... Одна зарубка, две зарубки, три зарубки, четыре зарубки... «Пора цвести миндалю...» Пять зарубок, шесть, семь... «Миндаль уже отцвел бы, теперь пора абрикосов и урюка...» Восемь, девять, десять... «А сейчас цветут вишни...» Одиннад-

цать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать... «И над майскими черешнями кружат пчелы... Хоть бы кто-нибудь убрал эти кирпичи под грушей! Ведь кирпич, раскалившийся на солнце, — он что промокашка: всю влагу из земли высасывает... А грушам пока рано цвести...» Двадцать, двадцать одна, двадцать две, двадцать три... «И персики бы отцвели... Груши— те поздно цветут... Обычно в конце апреля или в начале мая распускаются почки на грушах...» У цхнетских крестьян купил он лет шесть назад... В нескольких местах ободралась кора на груше... Обернуть бы аккуратно тряпкой и смазать смолой... Эх, не такие еще деревья выхаживал дедушка Симон! Надвое расщепленные стволы — и те склеивал. Зажмет вверху самую пасть трещины, оплетет ее ивовыми прутьями, а потом весь участок излома туго, как бинтом, обмотает лоскутами материи и промажет смолой. И можно было уже не бояться — ствол обязательно срастется... «Груша цветет в конце апреля. Бывает, что и запоздает недели на полторы... Надо бы еще с осени подрезать у нее ветки, а то где ей набраться сил, чтобы зацвести, такой ободранной да заваленной кирпичами...»

Ветки он мог бы подрезать и весной. Тайком от Даро пару раз раскрывал дедушка Симон свои садовые ножницы, но сжать разинутые концы толком так и не сумел: ослабевшие руки едва справлялись с пружиной... Да и в этом ли только дело: все равно ведь не спустится больше дедушка Симон во двор. Поглядит-поглядит из окна, повременит немного, а потом, видно, заполнит свою палку зарубками до конца... И останется-то на ней свободный кусочек всего пальца в четыре шириной... А тогда... тогда поставит дедушка Симон в конце еще одну зарубку — самую большую: как-никак семьдесят пять лет человеку, должен же он поставить большую зарубку, последнюю зарубку...

Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть...

Теперь и глаза начали болеть, двоиться стало в глазах. После захода солнца уже сплошной грушевый лес видит дедушка Симон во дворе.

Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять... «Поздно нынче цветут груши...»

Тридцатого апреля, проснувшись, он почувствовал сильную резь в глазах. От слезоточения веки слиплись, он с трудом разодрал их, приподнялся на постели. И замер... Словно белое пламя вспыхнуло за окном: груша стояла вся в цвету... Дедушка Симон забыл на шарить ногами тапочки, ступая босиком по полу, он распахнул окно, до самых подмышек высунул наружу дрожащие руки... Какая-то заблудившаяся, ошалевшая от весны и солнца пчела долго-долго напрасно старалась усесться на трясущуюся руку. Наконец, села-таки, примостилась, и до отказа вонзила отдохнувшее за зиму жало, но дедушка Симон не заметил пчелиного укуса.

Когда пили чай, он тоже смотрел в окно... И после чая опять взобрался на подоконник. Опять началась резь в глазах, и слезы пошли обильнее, и к вечеру весь двор усеялся белыми грушами.

Потом он увидел во дворе белую женщину с засученными рукавами. «Интересно, кто же это», — подумал он. Белая женщина поставила возле себя корыто, полное белого белья, сняла с шеи белую бельевую веревку, распутала ее, один конец привязала к столбу на соседнем дворе, затем поглядела по сторонам и пошла к противоположному забору. В нескольких шагах от него женщина остановилась: веревка натянулась, до забора ее не хватало. Женщина еще раз посмотрела по сторонам. У дедушки Симона пресекалось дыхание... Ноги у женщины были такие же белые и словно налитые, как и руки. Теперь он уже хорошо видел две сильных, мускулистых ноги. Вот обе они взобрались на грудку кирпичного щебня, наваленную вокруг грушевого ствола. Вот женщина пристала на носок правой ноги, подняла левую ногу,

поставила ее на сук груши. Потом вскинула обе руки, перебросила веревку через сук, и веревка стала медленно натягиваться...

Совсем нечем стало дышать дедушке Симону, в груди что-то свистело и шипело, когда легкие судорожно втягивали воздух. Бесшумно заработали молоточки в висках. Женщина еще несколько раз сильно потянула веревку, и груша — вся в белой пене цветения, — точно молодой бычок, поваленный для ковки, откинула набок шею... Дедушка Симон не смог выпрямиться. На шее вздулись синие прожилки. «Простыл, наверно, у открытого окна». У дедушки Симона затряслись колени, он присел на кровать. Увидел свои выходные ботинки, нагнулся, протянул руку, придвинул их к себе...

Даро была у соседей...

Первый шаг вниз по лестнице завершился благополучно. Второй он плохо рассчитал, наступил на шнурки ботинок и... Хорошо, что дедушка Симон захватил с собой кизилую палку в зарубках... Он присел на ступеньку, завязал шнурки, встал и сделал очередной шаг. За ним еще один, еще и еще... Постепенно колени его согрелись, и ступеньки стали быстрее сменять друг друга...

Солнце еще не садилось. По раскаленному асфальту мостовой глухо застучал сплюснутый конец кизиловой палки. Дедушка Симон шел в сторону восхода. Закатное солнце оказалось сзади и принялось щекотать шею. Лучи его пронизали похожие на лепестки лука уши дедушки Симона и перекрасили их из желтого в розовый цвет.

Голубые автобусы, большие и маленькие машины описывали вокруг него изрядную дугу, а потом снова ехали прямо. А дедушка Симон видел только серый асфальт и то всего на три стариковских шага вперед...

Как войско голиафов, высились по обеим сторонам улицы новые дома. Заходящее солнце зажигало огни в начищенных стеклах окон.

Потом оно сразу упало за горы, и окна зажглись изнутри.

А посреди улицы, у ног голиафовских войск шел, постукивая палкой, маленький худой старик. Шел, не то распаленный гневом, не то до костей похолодевший от него. Голубые автобусы, вытаращив в изумлении глаза, объезжали старика и продолжали свой путь...

Наступила ночь с тридцатого апреля на первое мая. Тбилиси горел, как большой факел. Прохожие потеряли собственную тень.

Движение на улице усилилось, и дедушка Симон отошел вправо, ближе к тротуару. Ноги, давно отвыкшие от такой ходьбы, дали о себе знать; весь потный, он присел на край тротуара, положил рядом палку, достал платок, принялся вытирать лоб и...

Вдруг увидел он и улицу, и голубые, с вытаращенными глазами автобусы, и большие и маленькие машины. Увидел людей за автобусами, за машинами. Оглянулся — позади него тоже были люди. Откуда донесся запах сирени...

«Где умещается столько народу? — подумал он. — На земле»...

«На земле хватит места и для людей, и для садов...»

Потом он рассчитал: «Тридцать шагов в длину и около десяти в ширину...» Через каждые шесть-семь шагов он сажал яблоню или грушу. Между ними помещал персик: «Пока яблони с грушами вырастут, персик успеет состариться».

Он медленно встал, и смешавшись с толпой прохожих, направился к дому.

Была почти полночь, когда он вернулся. Еще издали он заметил стоящую в освещенных дверях старуху.

«Что ей сказать, если спросит?» — подумал дедушка Симон. Даро шла уже навстречу ему.

Даже не расслышав как следует вопроса, он ответил:

— Ходил к Серго в магазин поглядеть саженцы, давно уже собирался...

Потом они поднимались по лестнице.

— Хорошие саженцы за приметил к осени...

Потом пили поздний чай. Теперь они оба смотрели друг на друга.



Белла АХМАДУЛИНА

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток,
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —
подумать, и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятай богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И, коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и пирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.
И прикипаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пушай же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой художью,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простилась, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вдохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

Мяч и поле

ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского М. Рывкина

Село Цихисдзири стоит у подножья небольшой горы. Южный склон ее покрыт густым лесом, спускающимся в долину, а на самой верхушке, словно соколиное гнездо, примостилась маленькая полуразрушенная крепость. Вокруг горы громоздятся величественные кавказские исполины, и если посмотреть на них сверху, то можно увидеть эту самую крепость, а ниже, в гуще садов и виноградников, — красные черепичные шапки домов. Это и есть Цихисдзири. Быстрая горная речка делит село на две равные части, на два «района». Однажды, ранним апрельским утром, мальчишки одного из этих «районов» пришли на старое овсяное поле и расчистили большую площадку. Потом они ее разметили, принесли из леса несколько бревен и соорудили ворота. Так родился стадион в Цихисдзири.

В тот же вечер, лишь солнце склонилось к западу, на поле появились юные футболисты и начали тренировку. Это были хозяева стадиона, футболисты команды «Риони». Сегодня, впервые в сезоне, им предстоял матч с арагвинцами. А пока они тренировались, малыши, собравшись за воротами, бурно приветствовали своих любимцев. На шеях у малышей висели рогатки, карманы их были набиты камнями, в руках они держали тухлые яйца. Это была «ударная армия» хозяев поля. Ею руководил верзила Гигуа.

Сейчас он стоял перед своими «бойцами» и деловито выяснял обстановку.

— В чем дело? Почему мало наших болельщиков?

— Многие, наверно, не знали, что сегодня открытие футбольного сезона, — робко проговорил один из «бойцов».

— Мы вывесили два объявления, — пожимая плечами, оправдывался другой.

— Смотрите у меня, — грозно сказал Гигуа. — Если придется драться и наших противников будет больше, — вам не сдобровать. — Он на минуту задумался, потом прошелся вдоль «строга» и снова заговорил:

— Вот что. Пока не поздно, бегите в деревню и приведите зрителей. Как можно больше.

— Пошли! Пошли! — закричали ребята.

— И помните: каждый из вас должен привести по меньшей мере троих! — бросил вдогонку Гигуа.

— А девочек можно?

— Лучше мальчиков. Ну если уж вам так хочется, можно, конечно, и девочек. Только научите сначала их хорошо свистеть и разъясните кое-что из правил. А то они будут действовать нам на нервы, ведь они уже один раз хлопали, когда забили гол в наши ворота. Да, чуть не забыл: болельщиков вооружите. Побольше кукурузных кочерыжек и гнилых соленых помидоров.

Проводив свою «армию», Гигуа решил заняться футболистами.

— Эй вы, мастера спорта! — закричал он во весь голос, направляясь на поле. — Довольно без толку топтать мяч. Давайте лучше решим, кто будет сегодня играть.

И правда, кто же будет играть? Ведь ребят так много, около тридцати. Они окружили Гигуа и подняли страшный шум.

— Я, я буду играть!

— Нет, ты не умеешь, я лучше.

— Спокойно, — гаркнул Гигуа. — Перестаньте орать. Сейчас все решим. И начал решать.

Ну конечно, все хотят попасть в команду «Риони». Еще бы! Она завоевала в прошлом году столько побед и буквально разгромила своих противников из другого «района» — футболистов «Арагви», выиграв четыре встречи из шести. А потом она совершила турне по близлежащим деревням и тоже добилась блестящих результатов. Пять встреч — пять побед, и соотношение мячей неплохое. Какой же дурак не захочет играть в такой команде?

А в этом году в Цихисдзири на базе местного колхоза создали совхоз, и в село из города понаехало немало всяких специалистов. Почти все они посе-

лились в новом двухэтажном доме, расположенном в их районе. Так что районцев ко всему еще ожидало городское пополнение.

На поле опять поднялся шум.

— Слушай, кто ты такой? Ты что, считаешь себя хорошим игроком? — кричал во весь голос худой босоногий Дато маленькому Гиви, который был ниже своего противника на целую голову. — Ну-ка, давай помотаемся, и я даю голову наотрез, что ты не сможешь даже огнять у меня мяч. Смотрите на него... Знаешь, чем ты должен заниматься?

— Чем? — не менее вызывающе спросил Гиви.

— Возить мацони на осликах. Возить и кричать: «Мацони! Горячее мацони!»

— А ты, пузатая кастрюля, должен надеть белый кофяк и торговать мясом, — рассердился Гиви.

— Заткнись, а то получишь!

Ребята напугались, как петухи. Дело наверняка дошло бы до драки, но их разняли.

— Смотрите на него. ха-ха-ха... Можно подумать, что он Михаил Месхи, — не унимался Дато, вырываясь из рук товарищей.

— Ты тоже не Слава Метревели, — спокойно ответил Гиви. — А если бы я не лучше тебя играл, то давно б себе ноги отрезал.

— Тебе и сейчас это не поздно сделать. К чему тебе человеку кривые ноги?

— У тебя все равно кривее. Чья бы корова мычала...

— Ну-ка пустите меня, пустите! — кричал Дато, хотя его уже никто и не держал. — Сейчас я расправлюсь с этой козявкой.

— Только подожди, попробуй! — угрожающе проговорил Гиви, показывая кулак. — Сразу понюхаешь, чем это пахнет.

Но тут в дело вмешался Гигуа.

— Ладно, мальчики, хватит, — сказал он спокойным голосом. Потом поочередно поднял вверх руки драчунов, как это делают судьи на ринге, и уже громче сказал: — Гиви Барнавели — наилегчайший вес, Дато Иремадзе — полутяжелый.

Все дружно расхохотались, а Гигуа продолжал с ехидной улыбкой:

— Ну-ка, мальчики поборитесь.

— Не буду я с ним бороться, — сжав кулаки, буркнул Дато. — Если он такой смелый, пусть подерется со мной.

— Нет уж, только без драк, — возразил Гигуа.

Тут подошел Тариэл. Все это время он был в стороне и катал мяч, но ему, видимо, тоже надоело.

— Ребята, может, хватит дурачиться? — спросил он. — Вот увидите, мы даже не успеем потренироваться.

— Слушай, ты, Тариэл, ты любишь только распоряжаться, — огрызнулся Гигуа. — А вот попробуй сам, составишь команду.

— Зачем это должен делать я? Давайте выберем комиссию, как в прошлом году. Пусть она и решает.

Идея всем понравилась. Ребята выбрали трех человек, тех троих, которые наверняка «сидели» в команде, и верили им свою судьбу. В тройку сильнейших вошли: Гигуа — хороший игрок и бессменный капитан команды, стройный подвижной Ваню, игравший левого крайнего, и наконец Дато, который теперь стоял уже в стороне, но все еще кипел и готов был в любую минуту наброситься на маленького Барнавели. Дато не хотели вводить в комиссию, но он взял мяч в руки, напомнив тем самым всем, кому этот мяч принадлежит, и его все-таки ввели.

Комиссия уединилась и начала свою работу. Ваню положил на колени лист бумаги, взял карандаш, и список быстро заполнился. Потом он записал еще троих запасных, но тут Ваню вдруг вспомнил о Гиви Барнавели.

— Оставь ты в покое этого Барнавели, — сердито проговорил Дато. — Он же такой слабый... Если кто-нибудь на него налетит, он упадет и не встанет.

— Ничего подобного, — сказал Гигуа. — Малый хорошо играет. И в воротах стоит неплохо. Его надо взять.

— Правильно, — подтвердил Ваню.

И тут Дато понял, что уже ничего не сможет сделать. Играть ему вместе с этим сморчком в одной команде.

Когда комиссия сообщила свое решение, вокруг стояла такая тишина, что было слышно, как журчит вода в реке, но стоило Ваню произнести последнее слово и вдруг поднялся такой невообразимый шум, что Гигуа не выдержал и закрыл уши руками.

— Чего вы орете, как ослы? — грозно прокричал Гигуа. — Думаете, в зоопарке находитесь?

— Ни ты, ни твоя команда ни на что не годитесь! — ответил кто-то из обиженных.

— А вот я сейчас посмотрю, на что ты способен. — Гигуа сжал кулаки и направился к обидчику, но в этот миг кто-то крикнул:

— Ребята! «Арагви» идет!

И все повернулись к реке.

У реки в походном марше развернула свои ряды команда «Арагви». Впереди два малыша на вытянутых руках несли ржавый верх от кабины трактора, на котором мелом крупно было выведено: «Реваниш! Реваниш!». За ними шли «музыканты». Один мальчуган барабанил по ведру, другие, раздувая щеки, трубили в ржавые водосточные трубы, и лишь за этим эскортом, окруженная

болельщиками, в два ряда шествовала команда.

Но рионцы тоже не оставались в долгу.

— Эй вы, сапожники! — орала она во всю глотку противникам. А вскоре с наименьшим шумом и визгом появились болельщики самих рионцев. Среди них было много девочек. Предстоял интересный матч.

ДЕВОЧКА ПОД ЛИПОЙ

Гиви был явно расстроен. Ну и счастье же у него. Ведь надо же было этим идютам именно сегодня сделать его запасным. Подумать только! Да он готов вообще бросить футбол, лишь бы играть сегодня. Ведь что, если она и вправду придет? Что будет тогда? Ничего. Просто он опозорится и все. Эх, не надо было ему вообще с ней заговаривать.

Вчера вечером ходил он с ребятами в лес пострелять птиц. Еще в деревне идут они и видят — сидит на скамейке под липой около двухэтажного совхозного дома незнакомая девочка. На ней темное шелковое платье с короткими рукавами, густые каштановые волосы распущены, а в руках книга.

Поравнявшись с липовым деревом, ребята замедлили шаг и устались на незнакомку. А Дато к тому же еще нарочно раскашлялся и громко сказал:

— Мальчики, по-моему, эта ворона прилетела к нам из Тбилиси.

Ребята дружно расхохотались.

— С чего ты взял? — спросил кто-то.

— Ну как же, по одежде узнал, — пояснил Дато. — Разве вы не видите, какая на ней широкая юбка, да и волосы распущены, как у ведьмы.

— Ты лучше посмотри на себя, — сказала девочка. — Твой-то волосы совсем как свиная щетина.

Лицо ее вначале было серьезным, словно она обиделась, но затем вдруг повеселела и ехидно заулыбалась.

Вот тогда-то и разразился хохот. Ребята держались за животы и звонко смеялись, а Гигуа даже захлопал в ладоши и громко сказал:

— Ну и молодец! Рассмешила. Ой, мамочки, да вы посмотрите на него! Разве это не правда? Точь-в-точь, как у свиньи.

И все вдруг стали хихикать, наверно, в знак одобрения, и лишь Дато, над которым вообще никто никогда не смеялся, на мгновение задумался и, обхватив голову руками, растерянно пробормотал:

— Вот надо же, именно сегодня забыл причесаться...

— Ври больше, — сказал Гигуа. — Твои волосы так же не знакомы с расческой, как я с китайским. — Он снова стал громко смеяться, и это развеселило

всех еще больше. А Дато притих, опустил голову и всю дорогу только и делал, что причесывал волосы.

В лесу он тоже был занят своей прической; все бегал к роднику, мочил голову, но зато, когда они возвращались, волосы у него уже не торчали, и он улыбался. Однако радоваться ему пришлось недолго. На солнце волосы быстро высохли и снова стали торчком. Вот уж не повезло. И надо же было этому случиться в то самое время, когда ребята уже подходили к тому злополучному двухэтажному дому. Что же делать? Неужто идти вот так дальше? Нет, Дато не хотел еще раз позориться.

— Фу ты, совсем забыл, — сказал он, вдруг остановившись, — у меня, наверно, не голова, а тыква. Отец просил зайти к нему на виноградник, а я и не вспомнил за целый день. Пойду спрошу, чего ему надо. — И убежал.

А через минуту и маленький Барнавели что-то уж очень забеспокоился.

— Что с тобой? — спросил его Гигуа.

— Заноза, — сказал Гиви. — Если не веришь, можешь посмотреть. — Он присел у забора и стал ковыряться в пятке, но ребятам было не интересно, что у него там в ноге, и они пошли дальше. А Гиви подождал, и, когда они скрылись, побрел следом.

Он шел медленно, чтобы не нагнать товарищей, но на самом деле в тот миг ему хотелось обрести крылья и полететь. Ему не терпелось вновь увидеть ту самую девочку и, может быть, даже заговорить с ней.

Интересно, — думал он, — сидит она еще там, под липой? Ну конечно, сидит. Не может она не сидеть. Иначе для чего же тогда он устроил весь этот цирк с занозой? А что если и вправду сидит? У него ведь все равно не хватит смелости подойти и заговорить.

Раздумывая над этим, Гиви даже не заметил, как неожиданно подошел очень близко к тому самому месту, где был расположен совхозный дом. К счастью, ребята свернули раньше, и ему нечего было бояться, что они станут за ним следить. И все же Гиви очень волновался. Но он пересилил себя, подошел еще ближе к дому и замер: прямо перед ним на скамейке сидела та же девочка и читала книгу. Впрочем, та или не та? Может, ему померещилось? Нет, конечно. Та. Но на ней сейчас было пестрое ситцевое платье и длинные косы с красными бантами.

Девочка почувствовала на себе чей-то взгляд. Она неожиданно резко повернула голову в сторону Гиви, зажмурилась, потому что в лицо ей ударило солнце, и тихо спросила:

— Что это ты на меня так смотришь?

— Да так... просто, — пролетел Ги-

ви. Он чувствовал себя очень неловко и, главное, не знал, куда деть руки, которые так мешали.

Глядя на него, девочка рассмеялась. Гиви тоже рассмеялся.

— Чего ты смеешься? — спросила девочка, уставившись на него живыми черными глазами.

— Так просто, — сказал Гиви.

— Да что ты все время повторяешь: «так просто, так просто»?

— А почему ты мне все время задаешь вопросы? «Почему смеешься? Почему на меня смотришь?» Хочешь знать, почему? Пожалуйста, могу сказать. А потому, что ты, как артистка, меняешь прически и платья.

— А я тоже... так просто, — улыбаясь сказала девочка. Затем она встала и подошла к Гиви: — Ну, я пойду. А то скоро папа вернется с работы. До свиданья.

— А кто твой отец?! — спросил Гиви.

— Мой отец — агроном Накаидзе. Знаешь его?

— Нет.

— А твой отец кто?

— У меня отца нет. Только мама. Она в детском саду работает. Поваром.

Они оба немного помолчали, глядя друг другу прямо в глаза. Но Гиви не выдержал ее сочувственного взгляда и опустил голову.

— А как тебя зовут? — спросила девочка.

— Гиви. А тебя?

— Меня... Нуну. — Она протянула ему руку. — Хочешь со мной дружить?

— Хочу, а почему бы и нет? — сказал Гиви, пожимая ее маленькую ручку.

А она опять стала смеяться.

«С чего бы это? — подумал Гиви. — Не надо мной ли она смеется?» Он осматривал себя с ног до головы, но все было в порядке — брюки, сорочка... «Почему же она все-таки смеется? Неужели только оттого, что она веселая?» Они молчали, и он от волнения никак не мог сообразить, о чем бы с ней поговорить. Но вдруг его осенило.

— Что у тебя за книга, Нуну? — спросил он.

— «Последний матч», — сказала девочка. — Очень хорошая книга. Когда кончу, могу тебе ее одолжить.

— А ты любишь футбол? — спросил Гиви.

— Как сказать? И люблю и нет.

— А я очень люблю.

— Смотреть или играть любишь? — лукаво улыбнулась она.

— Что за вопрос? Конечно, играть. Я в нашей команде — центральный нападающий. Вот завтра у нас матч, ты можешь прийти и посмотреть, — сказал он и тут же испугался своих слов. А что если его и в этом году не поставят в основной состав?

Но Нуну не заставила просить себя второй раз.

— Я приду. Обязательно приду, — пообещала она. — А теперь мне надо идти. Сегодня мы собрались с папой в кино. До свиданья.

— До свиданья, — растерянно проговорил Гиви. Он посмотрел ей вслед и, когда она вошла в дом, вспомнил про свое вранье. «Зачем надо было врать? — подумал он. — Уж лучше бы он вообще промолчал. Теперь надо будет что-нибудь придумать. Может, сказать, что болит нога?»

КОМАНДЫ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ

Матч долго не начинался. Зрители уже изрядно волновались, ожесточенно свистели, но когда наконец судья все-таки появился, вокруг стало совсем тихо. Он выбежал на середину поля, дал длинный пронзительный свисток и стал ждать.

Первой на поле вышла команда «Арагви». Трое ее игроков были в синих коротких штанах, на остальных штаны были разноцветные, длинные, но закатанные до колен. Кроме того, все игроки были оголены до пояса, что в общем-то выглядело неплохо, и теперь гордо стояли полукругом в центре поля в ожидании противника. Но рионцы опаздывали. У них не хватало вратаря, и никто не знал, куда он девался. А судья все свистел и свистел, и уже никак нельзя было ждать дальше.

— Ладно, давайте выйдем. В конце концов и я могу стать в ворота, — обратился Дато к товарищам, но Гигуа тут же его оборвал:

— Стой и молчи, без тебя тошно.

— А отчего тебе тошно? — удивился Дато.

— Да потому, что дела наши плохи. Ты что, не видишь, их ведь на поле двенадцать?

— Как? По какому праву? — возмутился Дато. Он повернулся лицом к полю и стал считать арагвинцев указательным пальцем. — Нет, их одиннадцать. Ты, видно, ослеп, — сказал он своему капитану.

— А судья? Ты его не считаешь? Он, ведь, тоже с левобережья.

Да, на это надо было уже иметь такое счастье, чтобы в один раз и вратарь пропал, и еще судья с левобережья!.. Нет, такого еще не бывало. Впрочем, судья был разыгран, как и всегда раньше, и тут уж ничего не поделаешь. А вот вратарь... Вратаря надо было искать.

— Что-то у меня сегодня плохое предчувствие, — заявил Ваню. — Нам нужно здорово постараться, а то мы наверняка проиграем. Говорят, их тренирует преподаватель физкультуры.

— Выиграют и получат, — выставив кулаки, сказал Гигуа.

— Боюсь, что и то и другое будет за ними.

— А ты не бойся, мяч круглый, куда покатится — неизвестно, — сказал Гигуа, но тут к нему подошел Ваню, и он отвернулся.

— Слушай, Гигуа, а что если нам Барнавели поставить? — спросил Ваню. — Он где-то здесь был.

— Верно. Гиви неплохо стоит в воротах, — сказал Гигуа. — Но где же он?

А маленький Барнавели в это самое время, ничего не подозревая, стоял в стороне, ругал себя за свое хвостовство перед Нуну и уже в который раз с горечью пересчитывал свою команду. Хоть бы кого-нибудь не было, ну хоть бы кого-нибудь мама позвала, что ли. Так нет же! Все, как назло, на месте. А тут еще, в довершение ко всему, на дороге появились девочки, и Гиви совсем спик, потому что увидел среди них Нуну, которая держала в руке букетик полевых цветов и страшно спешила. Наверно, цветы она для него приготовила, — решил Барнавели. Но тут же, испугавшись, что Нуну увидит его, отошел назад, прячась за спинами болельщиков, и только потом, словно побитая, поджавшая хвост собачонка, отбежал к винограднику. Но когда он возвращался с палкой в руках, прихрамывая, его, конечно, сразу заметили.

— Эй, Барнавели! — издали закричал ему Ваню. — Что это с тобой приключилось? Ты что, ногу поранил?

— Да нет, подвернул немного, — невнятно пробормотал Гиви, почесывая затылок.

— Лучше бы ты себе шею свернул, а не ногу, — сказал Гигуа.

— А что случилось, ребята, — заинтересовался Гиви, пропуская это мимо ушей.

— «Что, что!» Тариэл куда-то исчез, вот мы и хотели тебя в ворота поставить.

— Очень хорошо, — обрадовался Гиви. — Нога у меня не так уж болит. Сыграй я могу.

— Почему же ты все-таки с палкой?

— А это просто так, на всякий случай. Если ты хочешь знать, Гигуа, я и без палки могу ходить. Вот смотри. — Гиви отшвырнул палку, сделал вначале несколько неуверенных шагов, прихрамывая, затем выпрямился и в конце концов так рванул, что от хромоты и следа не осталось.

— Сойдет! Сойдет! — закричали обрадованные ребята, — молодец!

Гиви быстро разделся, сорвал с какого-то пацана кепку и ловко натянул ее на себя.

Футболисты выстроились в шеренгу. Они собирались было уже выйти на поле, как вдруг откуда-то появился Тариэл.

— Да, не повезло тебе, Барнавели, —

не скрывая радости, съязвил Дато. Видно, тебе действительно придется стоять сегодня за воротами и подавать мяч...

— Если хочешь знать, там не мое, а твое место, — сказал побелевший от злости Гиви.

— Ладно, Гиви, не сердись. Видно, сам бог не хочет, чтобы ты сегодня играл. Иначе бы этот тип все еще где-то таскался, — сказал Гигуа, показывая на Тариэла. — Ты где это был до сих пор?

— Что делать, капитан? Мама не пускала, — начал было объяснять Тариэл, но в этот самый момент судья вновь пронзительно свистнул, и ринцы нестройной шеренгой выбежали на поле.

— Слабакам из «Риони» — пламенный привет! — закричал капитан «Арагви».

— Поварам из «Арагви» тоже пламенный! — подхватил Гигуа.

— Урра-а-а! — заорали команды хором.

И матч начался.

«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ» ОГОНЬ

С первых же минут перевес был на стороне арагвинцев. Болельщики ринцев надрывали глотки, подбадривая своих, но это не помогало. Мяч все время гостил на штрафной площадке хозяев поля, и растерявшиеся защитники ничего не могли поделать. Лишь уверенная игра Тариэла на время спасала ринцев от гола. Но гол назревал, и, понимая это, вратарь поспешно давал указания своим защитникам, пытаясь их успокоить, а они до того растерялись, что вообще ничего не понимали и отбивали мяч куда попало. Не помогли им и нападающие. Ведь теперь даже они пришли на свою штрафную площадку. Лишь один Дато спокойно расхаживал в центре поля, поглаживая свои взъерошенные волосы, и исподтишка глядел на Нуну. О, как он хотел покрасоваться перед ней! И вообще было бы хорошо, если бы ему удалось забить сейчас гол. Но об этом можно было только мечтать.

Арагвинцы играли очень старательно. Они не раз прорывались к воротам соперника, опасно били, но Тариэл играл хорошо, и они долго не могли добиться успеха. Но все-таки, незадолго до перерыва, мяч побывал в воротах ринцев. Это произошло так неожиданно, что многие игроки и болельщики даже не успели заметить, куда полетел мяч, поданный с углового. А он залетел в ворота, прямо в «девятку», после отличного удара головой центрального нападающего «Арагви», неожиданно опередившего всех защитников.

Да, гол был забит, и надо было начинать с центра поля. Болельщики арагвинцев орали во всю глотку. Они подбрасывали вверх кепки, выпускали

голубей, обнимали друг друга, чего, конечно, нельзя было сказать об их соперниках, почитателях команды «Риони». Те сидели с опущенными носами, удивленно пожимали плечами, и кое-кто даже пробовал обвинить в неудаче судью.

Окрыленные первым успехом, футболисты «Арагви» не сбавили темпа. Они стали атаковать ворота хозяев поля с еще большей настойчивостью, и опять мяч надолго поселился на штрафной площадке рионцев. Тариэлу снова пришлось туго. Он взял несколько трудных мячей, но гол все равно, как говорится, «висел» уже в воздухе. Это было очевидно.

Правда, теперь болельщики рионцев уже не сидели молча. Они были явно недовольны своей командой и выражали это недовольство пронзительным свистом. Раздавались крики:

— Эй, Дато! Чего ты стоишь, как чурбан? Давай, бегай! Волосы после поправишь!

— Гигуа, играй посмелей! Нечего с ними нежничать!

Впрочем, это было уже совсем ни к чему. Гигуа и так делал все, что мог. Он ставил подножки, толкался, с кого-то чуть было даже не сорвал штаны... Но вот к воротам снова прорвался центральный нападающий арагвинцев. Он обманул левого защитника, обвел Гигуа и совсем было вышел один на один с вратарем, как вдруг капитан «Риони» в самый последний момент ловко «подцепил» его, и оба они свалились на землю.

— Пенальти! Пенальти! — заорали левобережцы.

Но тут вмешались болельщики команды «Риони».

— Какое пенальти? — кричали они. — Откуда пенальти? Это он сам сбил нашего капитана.

Однако судья был неумолим. Судья назначил одиннадцатиметровый удар.

И тут началось такое, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Футболисты обеих команд неожиданно очутились в зоне массированного «артиллерийского» огня. Это свирепствовали болельщики. Они швыряли в игроков тухлые яйца, маленькие, наполненные золой «бомбочки» и прогнившие соленые помидоры. Но больше всего досталось судье. Разбушевавшиеся болельщики рионцев гонялись за ним по всему полю и когда, наконец, одно яйцо угодило ему прямо в грудь, стали орать, что вот, мол, тебе медаль за «хорошее» судейство. А потом кто-то швырнул в него дохлую ворону, и он с позором бежал с поля под общий хохот зрителей.

Вдруг в этом невообразимом шуме кто-то три раза пронзительно свистнул. Свисток был самый что ни на есть на-

стоящий, судейский, и послушаться его было нельзя.

— Прекратите «стрельбу»! — прозвучал чей-то властный голос.

Ребята остановились, повернули головы туда, откуда раздался этот приказ, и увидели перед собой участкового агронома Накаидзе.

— Ну-ка прекратите это безобразие! Живо! — скомандовал он, подойдя вплотную. Затем мимоходом надавал по шее тем, кто еще хорохорился, и добавил: — Давайте-ка разоружаться! Быстро!

Все вопрошающие поглядели на Гигуа. Как, мол, нам быть, капитан? Но тот лишь развел руками.

— Что делать?.. Раз старшие против — надо разоружаться.

Болельщики тут же побросали на землю «оружие», но кое-кто все-таки был настроен еще по-боевому, потому что в тот самый момент, когда началось разоружение, раздался писклявый голос:

— За мной! В той копне спрятался судья!

Судья и в самом деле зарылся со страху в копну сена. Но он не стал дожидаться, пока его разорвут болельщики, и, выскочив из своего укрытия, пулей помчался прочь.

— Держите его! Держите! — орали вдогонку болельщики. Они уже хотели пуститься в погоню, но тут опять вмешался Накаидзе.

— Ребята, — сказал он, — вы все очень нехорошо себя ведете. Разве можно так грубо играть, тем более драться из-за пустяков?

— А мы не из-за пустяков. И вообще вам не кажется, что мы сейчас должны были поколотить этих прохвостов? — спросил Гигуа.

— Нет, — сказал Накаидзе, — не кажется. А за что? За то, что они лучше вас играли?

— Ничего подобного. Они играли не лучше, — вмешался Дато. — Просто судья им подсуживал, а то мы бы им показали, где раки зимуют.

— Ну это ты брось. Судья здесь не при чем.

— Хорошо, допустим, неправы мы, — сказал Гигуа. — А зрители? Им ведь виднее. И они тоже знают, что судья был подкуплен. А? Подкуплен? Ну что вы молчите? — обратился капитан к болельщикам, и те вдруг хором заорали:

— Подкуплен! Подкуплен!

А Ваню тем временем шепнул Тариэлу:

— Ты знаешь, я слышал, что наш агроном — известный футболист.

— Да ну? А где он играл?

— В тбилисской команде мастеров. Центральным нападающим.

— Ловко ты это придумал.

— Я придумал? — возмущился Ваню. — Вот ты сейчас увидишь, как я это придумал. — И он громко спросил

агронома: — Дядя, а как ваша фамилия?

— Накаидзе. Вахтанг Накаидзе, — ответил тот.

— А где вы раньше работали?

— Раньше я играл в футбол. В тбилисской команде. А потом тренировал одну молодежную команду.

Пораженные этой новостью, ребята вмиг окружили агронома и, заглядывая ему в глаза, с нетерпением стали ждать, что он скажет дальше.

— Вот так, друзья мои, — сказал Накаидзе. — В футбол играют ногами, а кулаки здесь не при чем. Кулаками не победишь. Вы, конечно, любите свою команду, я понимаю. И хотите, чтобы она всегда выигрывала. Но когда футболисты играют плохо, криком и кулаками делу не поможешь. Вот попробуйте-ка один раз сыграть хорошо, и у вас, можете мне поверить, не только с судей, но и с противником никаких ссор не будет. А сейчас огорчаться не стоит. Я верю, что со временем у вас будет хорошая команда. Ребята вы все отличные и, видно, способные. У вас все еще впереди.

— Так мы же у них все время выигрывали. И завтра выиграем. Вот посмотрите! — воскликнул Дато.

— Все это хорошо! Но сегодня, согласитесь, они играли лучше, — сказал Накаидзе. — А в вашей игре совсем не чувствовалось коллективности. Отсюда и все ошибки. Вы играете на отбой, каждый сам по себе, не видите поля, своих партнеров, плохо даете пас... А ваши соперники играли с большим подъемом. Видно, они хорошо подготовились к матчу, много тренировались.

— Что правда, то правда. — подтвердил Тариэл. — Они действительно играли лучше. Но у них есть тренер, школьный преподаватель физкультуры, а на нас ведь никто внимания не обращает.

— Это, конечно, очень плохо, — сказал агроном, — но поправимо. Если хотите, я вас буду тренировать.

— Хотим! Хотим! — радостно закричали болельщики и футболисты.

— Хорошо, — сказал Накаидзе, — тогда сегодня отдыхайте, а завтра к шести часам вечера приходите сюда. Только не опаздывать.

— Но у нас завтра игра.

— Ничего. Сначала надо тренироваться. А поиграть всегда успеете. — Сказав это, Накаидзе решил осмотреть поле. Этим тут же воспользовался Гиви Барнавели и подошел к Нуну.

— Здравствуй, Нуну, — тихо, застенчиво проговорил он.

— Здравствуй, Гиви, — сказала девочка, лукаво улыбаясь. — Ты очень здорово сегодня размахивал палкой и кричал. Что с тобой приключилось? Ты поранил ногу?

— Да, — соврал Гиви. — Вчера вечером.

— Бедный, как тебе не повезло! Нуну опять улыбулась, и Гиви вдруг понял, что она наверняка обо всем догадывается. Определенно, она разгадала его хитрость. И если он сию же минуту не придумает ничего такого, что смогло бы ее убедить в противоположном, все будет кончено. Нуну намеряка решит, что он хвастун и обманщик, и даже не захочет с ним разговаривать.

— О, ты даже не можешь себе представить, как мне не повезло, — жалобно сказал Гиви. — Надо же, такой матч пропустил. Ребята долго уговаривали, и я даже попробовал походить без палки, но только попробовал. Играть я, конечно, не смог.

— Да, да, я видела, — опять заулыбалась Нуну. — В конце концов ты даже победил. Не правда ли?

— Угу. Я тоже был страшно удивлен, как это у меня получилось, — кивнул головой Гиви, готовый уже к полному провалу. — Просто удивительно. Хожу с трудом, а вот бегать совсем не больно.

— О-о-очень удивительно, — расхохоталась Нуну. — И часто такое с тобой случается?

— Нет, не часто, — смешавшись, ответил Гиви. Он почесал затылок, потом посмотрел на свою собеседницу и, виновато опустив глаза, с грустью добавил: — А сейчас я пойду. Наверно, мы будем разбирать сегодня игру.

Нуну кивнула.

— До свиданья, — сказала она.

А он повернулся и, опираясь на палку, заковылял к друзьям.

МАСТЕР СПОРТА

Вахтанг Накаидзе провел свое детство в приморском городке. Жил он с родителями неподалеку от стадиона и с малых лет целые дни проводил на зеленом поле, гоняя с мальчишками мяч. Кроме того, он не пропускал ни одного матча, кто б ни играл — большие или маленькие, и вскоре сам стал выступать за команду своего района. А когда ему исполнилось пятнадцать лет, его пригласили в молодежную сборную города и с первого же матча он завоевал симпатии зрителей.

Окончив школу, Вахтанг уехал в Тбилиси и поступил в сельскохозяйственный институт. Там он тоже не переставал заниматься футболом, и вот однажды их команда вышла в финал Кубка города. В решающей встрече Накаидзе сыграл блестяще. Все четыре мяча, влетевшие в ворота противника, забил он, а после игры к нему подошел тренер одной из команд мастеров и пригласил к себе. Вот тогда-то и началась его футбольная карьера.

О, это было прекрасное время. Тогда он был молод, силен и играл ловко, красиво, никогда не уставая. А стадион гудел от восторга, и каждый мяч, забитый им в ворота противника, награждался аплодисментами. Потом он попадал в объятия друзей, болельщиков... А на завтра его расхваливали газеты. И так повторялось много, много раз.

Но годы шли, и время брало свое. Вахтанг располнел, стал быстро переутомляться, да и в ногах уже не чувствовалось былой силы. И вот однажды он уступил. Уступил свое место в команде игроку более молодому, такому же, каким был раньше сам, когда начинал. Вахтанг знал, что так оно в конце концов и должно было произойти. В мыслях он уже давно был готов к этому и все же в сердце где-то еще колебался. Трудно было расстаться со славой.

Но он напрасно волновался. Его не забыли. Более того, ему как опытному футболисту доверили тренировать молодежную команду.

Работая тренером, Вахтанг отдавал любимому делу всего себя, щедро делясь со своими питомцами огромным опытом и знаниями, словом, всем, чем обладал сам, и в конце концов воспитал не одного хорошего футболиста. И все же он не был доволен своей работой. Хотелось большего. Хотелось, чтобы его ребята были сильными, классными футболистами, чтобы они обладали большой волей и чтоб никогда не теряли веру в себя и в своих товарищей.

Подобные мысли всегда окрыляли Вахтанга Накаидзе. Но ему не повезло как тренеру. Команда, которой он руководил примерно лет пять, так и не добила сколько-нибудь значительных успехов. А потом его перевели в фабрично-заводской коллектив, и там повторилось то же самое. Это вконец разбило его надежды. Он подал заявление и ушел с работы.

С тех пор Вахтанг стал скрытным, необщительным человеком и большую часть времени проводил дома. Он много читал, пробовал сам писать книгу, в помощь тренерам футбола, и за этим занятием просиживал целые ночи. Однако из этого тоже ничего не вышло, и он совсем расстроился.

А потом они всей семьей — он, жена и двенадцатилетняя дочь — отправились погостить в его родной город. Встреча со стариками-родителями и друзьями детства подбодрила и немного успокоила Вахтанга. По утрам он купался в море, катал в лодке жену и дочку, а вечером вместе с ними любовался закатом солнца.

Но время шло, и надо было возвращаться в Тбилиси. Уже одно воспоминание об этом снова наводило Вахтанга на разные неприятные мысли. Ведь правда, что ему делать в Тбилиси? Си-

деть без дела весь год и чувствовать себя каким-то отшельником? Ну хорошо, не получилось одно, пусть самое главное в его жизни. Не станет же он из-за этого убивать в себе человека. Ведь он здоров, ноги и руки работают, да и кровь еще по-прежнему кипит в жилах. Нет, невозможно ему сидеть без дела. Он просто не сможет так жить. Но куда пойти? За что раньше взялся? Правда, Вахтанг окончил сельскохозяйственный институт, имеет диплом агронома, но он ведь нигде никогда не работал по специальности, да и с того дня, как он распрощался с вузом, прошло немало времени. Нет, об этом нельзя и думать. А может, все-таки попробовать? Засесть за учебники, восстановить кое-что в памяти? Потом можно и в колхоз поехать. Что ж, к этому еще стоит вернуться.

И он решил поехать в деревню.

Когда Вахтанг рассказал об этом своим знакомым и близким, те посмеялись над ним. Они считали, что это просто немисливо. Ведь подумать только... сколько лет выступать за одну из сильнейших команд Грузии, стать мастером спорта, не раз защищать честь своей республике как у себя на родине, так и за рубежом, — и все это только для того, чтобы в конце концов поселиться в деревне и «горбить» с утра до ночи в поле, в жару и в холод, в дождь и всякую непогоду. И это собирается сделать человек, которым гордился весь спортивный мир. Нет, они не пустят его ни в какую деревню.

— О чем ты говоришь, Вахтанг? Ты, наверное, сошел с ума. — не унималась жена. Но Накаидзе решил настоять на своем.

— Ну что такое, Нелли, что я такого сказал?

— То есть как это? И ты еще меня спрашиваешь? Люди стремятся из деревни в город, а он, видите ли, сам, по собственному желанию делает наоборот и еще удивляется, что я недовольна. Да это же просто глупо. Неужели ты сам не понимаешь?

— Что поделаешь, моя дорогая? Я агроном, а агроному место в деревне. Где же мне еще работать?

— Как где? Да ты ведь известный человек в городе. Для тебя, если хочешь, все сделают.

— Нет, Нелли, — сказал Вахтанг и обнял жену за плечи. — Место агронома в деревне. А тут в городе мы достаточно прожили, вкусили, так сказать, прелесть городской жизни. Теперь подадимся на лоно природы. Не думай, там не так уж плохо. Везде есть свои прелести.

— Вахтанг, милый, ну куда же ты меня зовешь? Ты ведь знаешь, что я родилась и выросла в городе, у меня здесь родители, родственники, друзья. Здесь каждая улица и каждый дом

близки мне. Я как будто к ним приросла и наверняка не смогу жить без всего этого. И кроме того, мы ведь не одни и должны позаботиться о нашей дочери. Ну как ты думаешь, где лучше учиться, в городе или в деревне? Ведь здесь музыкальная школа, театры, консерватория... Ну умоляю тебя... прошу... Выбрось все это из головы.

— Нет, Нелли, не уговаривай меня напрасно. Я уже твердо решил, что уеду, — сказал Вахтанг и ударил кулаком по столу. Ударил не сильно, без злости, а так: разговор, мол, закончен. Но жена рассердилась.

— Ах, так, — сказала она приглушенным голосом, — ну что ж, можешь ехать хоть сейчас. Скатертью дорога. А я отсюда никуда не уеду.

— Воля твоя, — проговорил Вахтанг, — а я не настаиваю. Как хочешь, так и поступай.

На этом тогда все и закончилось. Супруги больше не говорили о переезде, но о каких-либо уступках с чьей-нибудь стороны тоже не могло быть и речи.

А Вахтанг вскоре после этого разговора подал заявление с просьбой направить его в район и буквально через несколько дней, получив бумагу с назначением, стал готовиться в дорогу. О его отъезде в доме не говорили. И только сами супруги в душе сознавали, что расстаться им будет трудно.

Наконец настал день отъезда. Вещи уже были собраны, и все семья сидела за столом, когда маленькая Нуну сказала:

— Знаешь, мама, наверно, я тоже поеду в деревню. Папа там будет один и мне его жаль.

— А меня тебе не жаль? Я ведь тоже буду одна, — рассердилась мать.

— Нет, ты не одна. Здесь останутся бабушка, дедушка, тетя. А папа совсем один.

Вахтанг улыбнулся.

— Хорошо, дочка, поедешь со мной, — сказал он. — Лето проведем в деревне, а там видно будет.

Нуну повернулась к матери.

— Мама, а ты?...

— Если тебе хочется, поезжай, детка. В деревне хороший воздух, ты отдохнешь и окрепнешь.

— А ты, мама, ты не поедешь?

Мать ничего не ответила. Она только тихо вздохнула.

* * *

Пришла весна. Солнце не небе теплеет с каждым днем становилось все ярче и ярче. Оно улыбалось людям и как бы говорило: глядите, ведь это я тронуло лед и сорвало с земли снежное покрывало. А теперь я согрею своим теплом землю и дам прорасти семенам. Люди спешат высеять в почву семена. Грохочут трактора, скрипят,

вгрызаясь в землю, новенькие свежие крашенные плуги, а Вахтанг Накаидзе, молодой агроном, ходит довольный по своему участку и проверяет глубину закладки семян.

В этот день он пришел в поле на рассвете. И сразу же по его команде разошлись во все стороны трактора с сеялками. А он побежал следом и в нескольких местах на поверхности земли увидел желтые кукурузные зерна. Сомнения не было. Надо сажать глубже.

— Эй! Георгии! — закричал он бригадире. — Остановись!

Тот застопорил ход.

— Слушай, — запыхавшись подбежал агроном, — много семян на поверхности. Надо сеять глубже.

— Воля твоя, — сказал бригадир, — ты начальник, тебе и приказывать.

— Хорошо, — согласился Вахтанг. — Тогда давай глубже.

С тех пор прошло много времени. Поля уже давно зазеленели, покрылись зеленой листвою и деревья, а вот участок, к которому был прикреплен Накаидзе, все еще был голый. В совхозе забеспокоились. Вопрос об этом стоял и на партийном собрании. Но бригадир ловко вывернулся. Он, мол, не виноват. Ему агроном приказал сеять глубже. С агронома и спрашивайте.

И все набросились на агронома. Обвинили его в халатности и еще во многом, а Вахтангу казалось, что все это еще не то, что они чего-то еще не договаривают, а вот придет время и скажут: иди и играй в футбол, дорогой товарищ. У нас головой думают, а не ногами. Это тебе не игра в мяч. Ведь если семена действительно не прорастут, весь участок придется перепахать и снова засеять.

Каждое утро Вахтанг выходил в поле.

«Неужели не прорастут? — думал он, глядя на жирную черную землю. — Ну почему, почему же ростки не появляются? Неужели действительно семена посажены чересчур глубоко? Неужели весь труд пропал даром?»

НАЧАЛО ТРЕНИРОВОК

На следующий день, ровно в назначенное время, Накаидзе пришел на футбольное поле. В это время ребята уже били мяч в одни ворота, но заметив подошедшего тренера, прекратили игру и окружили его. А он приказал всем выстроиться по росту и обратился к Гигуа:

— Товарищ капитан, кто отсутствует?

Гигуа не сразу ответил, но пока он оглядывал футболистов, его опередил маленький Гиви.

— Что-то Ваню не видно, — проговорил он быстро, не дав раскрыть рот капитану.

Но Накаидзе тут же его оборвал:

— С сегодняшнего дня отвечает только тот, кого спрашивают. Ясно?

— Ясно! — хором ответили ребята.

В это время появился Ваню. Он на ходу что-то сказал товарищам и стал в конце шеренги около Барнавели.

— Ладно, на первый раз я тебе прощаю, — обратился к нему тренер. — Но на будущее помни — в строй становиться без разрешения нельзя. А сейчас расскажи, почему опоздал?

— Так вы ведь пока не начали тренировку, — стал оправдываться Ваню.

— Это не имеет значения. Сказано — в шесть, значит, ты должен прийти ровно в шесть. Ни раньше, ни позже. Понял?

— Понял.

— Вот и хорошо. А сейчас приступим к тренировке.

Накаидзе попросил вратаря принести ему мяч, а когда тот выполнил его просьбу, он опустил мяч на землю и ловко остановил ногой.

— Сегодня, ребята, я вас буду учить правильно бить по мячу, — сказал тренер.

Все сразу скорчили недовольные мины.

— Чему-нибудь другому поучили бы, товарищ тренер, а бить по мячу мы и так умеем, — выражая общее недовольство, пробормотал Гигуа.

— Э-э, Гигуа, напрасно ты так думаешь. Сделать правильный удар по мячу не так-то уж просто. А ну-ка скажи, если знаешь, как вообще можно бить по лежащему мячу? Какими словами?

— Как? Ну... Как можно сильнее, — замаялся Гигуа.

— А что нужно сделать, чтобы удар получился сильным?

— Для этого надо иметь просто сильные мускулы.

— Ну вот, видишь, оказывается, ты и не знаешь, — рассмеялся Накаидзе. — Конечно, сильные мускулы — вещь хорошая. Но кроме этого нужно обладать еще и техникой удара. Вот, например, лежит мяч на земле и ты хочешь по нему ударить. Во-первых, надо сначала правильно к мячу подойти. Это зависит от того, какой ногой ты собираешься бить. Если, к примеру, хочешь бить правой, то левая обязательно должна быть установлена рядом с мячом, а правая занесена над ним. Во-вторых, ты очень быстро должен определить, какой силы требуется удар, чтобы мяч точно попал к партнеру. И лишь после этого бьешь по нему щечкой или подъемом, а не носком. Вот так, смотрите. — И он показал ребятам как все это делается. — Ну вот, теперь вы уже наверняка будете знать. У кого вопросы?

— У меня, — бойко сказал Гигуа. — А почему надо бить подъемом или ще-

чкой? Мы всегда бьем носком. Так выходит сильнее.

— Конечно, Гигуа, носком несравненно сильнее. Но этим приемом пользуются, когда мяч нужно передать подальше. А чтоб было точнее, играют щечкой или подъемом. У кого еще есть вопросы?

— Все понятно, — ответили футболисты.

— Тогда давайте работать. — И Накаидзе стал учить каждого, как правильно подходить к мячу и делать удар. Потом они еще с полчаса потренировались у одних ворот, и Вахтанг объявил, что на сегодня достаточно.

Ребята были удивлены. Им, конечно, понравилась тренировка, но неужели она всегда будет такой короткой? Ведь они за это время даже устать не успели.

ЧТО ЭТО ЗА ДРУЖБА?

Однажды вечером Вахтанг Накаидзе возвращался домой после очередной тренировки. Он шел по тропинке вдоль виноградника, а под лучами заходящего солнца зеленели горы и долины, и белым жаром дышала свежевспаханная земля. Повсюду чувствовался сладковатый аромат распустившейся алычи, и стояла такая тишина, что отчетливо слышалось щебетанье лесных птиц, готовящихся ко сну. Накаидзе смотрел на все это зачарованными глазами и слушал, слушал, и думал о том, что ни в каком городе человек не может видеть такую прелесть, свободно дышать и ощущать запах земли.

Пройдя еще немного, он заметил своих учеников. Видимо, они пошли напрямик, садами, и обогнали его.

Ребята шли шумно. Они кричали, свистели, бросали в птиц, сидящих на деревьях, камни, а чаще просто вырывали друг у друга кепки и подбрасывали их вверх.

Накаидзе смотрел на них и радовался. Ему нравилось ребячье озорство. Глядя на них, он вспомнил свое собственное детство. А ребята тем временем уже подошли к небольшому мостику, перекинутому через узкий канал, однако никто пока не решался перейти его первым.

Но вот вперед вышел Гигуа. Он наклонил голову и легко побежал по раскачивающимся бревнам. Ребята тут же стали бросать в воду камни, стараясь его забрызгать, но он пробежал так быстро и неожиданно, что ни одна капля не коснулась его. А вот Тариэлу и его товарищам досталось здорово. Обстрел шел уже с двух сторон, и они промокли до ниточки.

Наконец шумная ватага ребятшек почти вся перебралась через злополучный мост, а Дато все еще никак не решался совершить такой «подвиг».

— Эй, Дато! Давай, переходи! Раз ты так боишься замочить ножки, мы тебя не тронем, — кричали ребята с другого берега.

— И не подумая, — гордо отвечал Дато. — Я лучше перейду по большому мосту. — И он было уже направился в обход, к большому мосту, как вдруг его снова остановили.

— Да переходи, не бойся. Кто тебя тронет?

Дато остановился, постоял на месте, наверно, раздумывая, как поступить, а затем спросил:

— Правда, не тронете?

— Да кому ты нужен?

В подтверждение этого ребята повернулись и пошли дальше, но как только тот появился на середине моста, они с ходу стали швырять в воду спрятанные в карманах камни, и Дато промок не меньше других.

Когда ребята устали от смеха и шутки, они спустились вниз, чтобы смыть с себя грязь после тренировки. Дато быстрее всех зачерпнул воду в ладони, плеснул ее себе в лицо и вытерся рубашкой. Потом он стал подниматься вверх по обрыву, но сделал вид, что не удержался, и лихо полетел вниз, прямо на спокойно сидящего у воды Барнавели.

Бедный Гиви! Хорошо, что он полетел в канал ногами вперед и не ударился головой, но в следующий миг его уже потащила вода, и он, кувыркаясь, поплыл вниз по течению.

А ребята, о эти безжалостные ребята! Они стали смеяться и подняли такой дикий шум, а потом побежали вдоль берега и стали кричать ему, чтобы он не дурачился, а вылезал из воды. Но маленькому Гиви не так-то легко было справиться с несущим его потоком. Благо на пути подвернулась большая ивовая ветка, и он, схватившись за нее, с трудом встал на ноги.

В это самое время неожиданно появился испуганный Накаидзе.

— Ну как, ты не ушибся? — спросил он Гиви взволнованным голосом.

— Нет, товарищ тренер.

— Чу, надулся, чертенок. Я-то уже бог весть что и думал. А ты иди сюда! — громко позвал Накаидзе стоящего невдалеке Дато.

Тот подошел к тренеру с опущенной головой.

— Что это такое? Ты что, с ума спятил? Разве так дружат? А если бы он свернул себе шею? — едва сдерживая волнение, прокричал Накаидзе.

— Я не виноват, я сам поскользнулся, — испуганно зеленел Дато.

— Не ври! Я все очень хорошо видел. Ты сделал это нарочно. Почему ты так поступил? Говори!

Дато нахмурил брови и посмотрел в

сторону деревни, словно оттуда ожидал помощи.

— Лучше будет, если ты сам скажешь правду, — вновь заговорил тренер, но Дато, казалось, не собирался отвечать, и это разозлило Накаидзе.

— Ах, так, — сказал он, — ну хорошо. Тогда я сам скажу. Ты это сделал потому, что я сегодня его поставил играть вместо тебя, не так ли? Ну-ка подыми голову и говори правду. Я же к тебе обращаюсь.

Однако Дато молчал.

— Ну раз у тебя не хватает смелости сказать правду, значит, ты трус. А футболист не может быть трусом. Иди, мне нечего больше тебе сказать. Я думаю, что и так все ясно.

Дато повернулся и пошел прочь. Он даже не посмотрел на своих товарищей, которые теперь, наверное, уже осуждали его.

ПОЛИХРОН ГРОЗИТСЯ

Главный бухгалтер совхоза Полихрон Иремадзе лежал в гамаке на веранде и громко читал траурные объявления, напечатанные на четвертой странице газеты. Его супруга, женщина средних лет, одетая не по возрасту пестро, тут же невдалеке мыла тарелки и внимательно слушала.

— Полихрон, да ты ведь это уже читал, — смеясь говорила она, когда муж вдруг повторял какое-нибудь объявление, но Иремадзе был упрям:

— Нет, клянусь, не читал, — отвечал он серьезно.

— Ну как же, читал.

— Читал, говоришь? Может, ты еще скажешь, что я и это уже читал? — И он произнес несколько фраз из следующего объявления.

— Конечно, читал. Разве ты не помнишь? Это ведь тот, у которого были жена, четыре свояченицы, теща, да еще и мать тещи. Наверно, они его и прикончили.

— Ах да, вспомнил, конечно, читал. Ты знаешь, последнее время со мной что-то происходит. Я стал страшно рассеянный.

— При чем тут рассеянность, когда у тебя уже глаза слипаются, и ты скоро заснешь над газетой.

— О, в этом ты совершенно права, моя дорогая Текле. Я ведь сегодня после обеда не спал. Потому-то у меня и слипаются глаза. — Сказав это, Полихрон повернулся на другой бок, накрыл голову газетой и тут же захрапел.

Текле уже заканчивала мыть посуду, как вдруг на лестнице появился надутый Дато.

— Что случилось, сынок? Тебя кто-нибудь обидел? — спросила мать.

Дато ничего не ответил. Он вошел в комнату, повалился на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, заплакал.

— Эй! Слушай! Вставай! — закричала Текле, подбежав к мужу и начав его трясти. — Вставай скорее! Какое время спать! С ребенком что-то случилось.

Полихрон соскочил с гамака как ужаленный.

— Что, что случилось, жена?

— Мальчик наш там... — не договорила Текле.

— Где, где он, мой сын, мой ребенок? — закричал отец.

— Там, там, — показала жена, и они оба на цыпочках направились в комнату.

— Сын мой, Дато, что случилось?

Но Дато не отвечал. Он лишь обхватил подушку руками и заплакал еще сильнее.

— Не своди меня с ума, сынок. Кто тебя обидел, кто этот негодяй, кто? Скажи, я оторву ему голову. Ну почему ты плачешь?

— Хочу и плачу, — сквозь слезы пробормотал Дато.

— Э-э... сынок, слезы не шоколад, чтобы ты их хотел.

Отец и мать стояли на коленях по обе стороны кровати и уговаривали его.

— Сынок, ты только скажи, почему плачешь, и я тебе завтра же куплю велосипед, — пообещал Полихрон.

— А я привезу тебе из Тбилиси заграничный костюм, — вторила ему жена.

Но Дато ничего не хотел. На него не действовали уговоры. Он по-прежнему ревел, а теперь еще и колотил по постели ногами.

В конце концов отцу это надоело. Решив действовать по-другому, он нагнулся к Дато и сказал ему что-то на ухо, так, чтобы мать не слышала.

— Правда? — сразу же повернулся Дато.

— А что, я тебе буду врать, что ли? — ответил отец.

— Не верю, все равно не верю, — проговорил сквозь слезы Дато и снова уткнулся в подушку.

— Почему ты не веришь, сынок? — взмолился Полихрон. — Ну скажи, когда я тебе что-либо обещал и не выполнил?

— Всегда не выполняешь.

— Ах, боже мой, но сейчас обязательно выполню.

Дато недоверчиво обернулся, вытер кулаком заплаканные глаза и обнял отца.

— Ну если не обманываешь, тогда скажи, когда купишь, — проговорил он, все еще всхлипывая.

— Боже мой, да завтра же. Как только откроется магазин.

— Что это вы собираетесь покупать без меня? — вмешалась в разговор мать.

— Охотничье ружье! — радостно воскликнул Дато.

— Этого еще не хватало. Мало у нас забот без твоего ружья. А ты, Полихрон, тоже хорош. Он же еще совсем ребенок. И что он вообще понимает в охоте? Еще чего доброго выстрелит в кого-нибудь, беды не оберешься.

Дато завопил, как резанный. Слова матери разозлили его.

— Послушай, замолчи, — сказал Иремадзе своей жене. — Не порть ребенку нервы. Вечно ты лезешь со своими дурацкими разговорами. Вот испортила дело, теперь сама и выкручивайся. А я умываю руки.

Текле поняла, что совершила глупость.

— Дато, сынок мой любимый, — запричитала она. — Да это я так просто сказала. Разве ты не понял? Да если хочешь знать, я сама завтра же заставлю отца купить тебе охотничье ружье.

Она стояла на коленях перед сыном и гладила его по голове. А с другой стороны стоял отец.

— Успокойся сынок, мое солнышко. Да кому какое дело, что мы с тобой купим — пушку или пулемет. Что захотим, то и купим. Ты только скажи, что случилось?

Дато поднялся с кровати, вытер глаза и тихо проговорил:

— Тренер меня обидел, обозвал трусом.

— Трусом?! — гневно воскликнул Полихрон, вытаращив глаза. — Да как он смел, наглец. Да я ему... Кто он?

— Кто... ваш Накаидзе, — опять залился слезами Дато. — Я даже не знаю, в чем моя вина. Просто, он незлибил меня с самого начала. Но всему придается. А сегодня обозвал трусом и заявил, что на соревнованиях вместо меня будет играть Барнавели.

— Кто, кто будет играть вместо тебя? — переспросил Иремадзе.

— Барнавели, сын поварихи из детского сада!

— Боже, это что еще за несчастье такое? — кричал Полихрон. — Чтобы сына поварихи с моим Дато равняли? Да он настоящий дурак, твой Накаидзе, клянусь богом. Наверно, ему еще не известно, кто старший бухгалтер в совхозе.

— Будет тебе, Полихрон, не стоит из-за этого расстраиваться, — успокаивала его Текле. Потом она погладила по голове сына и ласково проговорила: — Сынок, а что если ты вообще бросишь этот проклятый футбол? Будь это стоящим делом, никто бы в нем не опередил твоего отца.

— Это верно, — сказал Иремадзе и гордо зашагал по комнате. — Но если хочешь знать, Текле, когда-то в футбол играл и я, и довольно успешно. А вооб-

еще-то весь наш род был спортивный. Дед мой покойный слыл знаменитым борцом. В окрестных деревнях не было ему равных. Так и скончался бедняга, ни разу не побывав на лопатках.

— Что-то я впервые об этом слышу, — недоверчиво посмотрела на мужа Текле. — Были бы у тебя такие предки, ты сам не был бы таким рохлей. А то распилишь одну чушку и два часа лежишь на тахте, кричишь, что спина у тебя разламывается.

— О, боже, и до чего я дожил? Моя жена надо мной издевается. Да разве ты не помнишь, каким я был знаменитым наездником? В нашей деревне никто не мог победить меня. А еще я мог, глупая, десять раз в танце обойти на цыпочках круг и раз тридцать присесть на корточках.

— Помню, все помню, — сказала Текле, иронически улыбаясь. — Не забыла. Что касается кутежей, на это ты мастер. Равных тебе в этом деле пожалуй, и не было.

— Да, не было, — согласился бухгалтер. — А сейчас чем я хуже других? — И он прошелся по комнате, поигрывая плечами. — Наш Дато, вот посмотришь, тоже будет самым лучшим мужичиной во всей округе.

— Конечно, будет, — обрадовалась мать. — Да он и сейчас уже лучше всех цихисдзирских парней.

Воспользовавшись этим, Дато решил подбавить масла в огонь.

— Папочка, а знаешь, этот Накаидзе еще обвинил меня в том...

— В чем, сынок, в чем? — всполошились родители.

— А в том, что я как будто нарочно столкнул Барнавели в канаву.

— Ты посмотри на эту свинью! — взревел Полихрон Иремадзе. — Да как он посмел сказать моему сыну такое? Да я ему за это голову оторву!

— И правильно сделаешь, — сказала Текле. — Поделом ему будет бродяге, поделом проклятому.

СТЫЧКА

На следующий день, когда «Риони» вела очередную тренировку, прямо на поле с дороги въехал «Москвич». Изрядно «попрыгав» на ухабах, он остановился недалеко от ворот, и из него с трудом выбрался сидевший за рулем главный бухгалтер Полихрон Иремадзе. Он отряхнул брюки, потом огляделся вокруг и лишь после этого громко сказал:

— Эй, ты, Накаидзе, слышишь? Иди сюда.

Тренер отвернулся, сделав вид, что это его не касается, и продолжал заниматься своим делом.

— Смотрите-ка на него, еще притворяется глухим, — взбесился бухгалтер.

Он подошел ближе и кликнул Накаидзе вторично, но тот и не думал отзываться.

Иремадзе был вне себя от бешенства. Он ничего не мог понять. Неужели этот человек сошел с ума? Ведь это он, Полихрон Иремадзе, главный бухгалтер совхоза, зовет его. Да какой там зовет — глотку надрывает...

Тем временем нападающие начали атаку. Барнавели прошел по центру, отдал мяч левому крайнему, а тот, ловко обойдя защитника, с ходу ударил по воротам, но мяч срезался и попал прямо в Иремадзе. Раздался свисток. Игра прекратилась. Тренер подошел к бухгалтеру и спросил:

— Чем могу служить, товарищ Иремадзе?

Тот опасливо огляделся вокруг, боясь, что его вторично ударят мячом, и грозно воскликнул:

— Ты что оглох, Накаидзе? Отойдем в сторону! У меня к тебе дело.

— Не могу сейчас, занят, — ответил тренер. — Поговорим в другой раз.

— А-а? Что? У тебя для меня нет времени? А с этими сопляками есть время болтать?

— Я с ними не болтаю. У нас занятие, — спокойно ответил Вахтанг.

— Ха! Занятие! И ты, и твои ученики — все вы... А ты к тому же плохо воспитан. Я тебя зову, зову, а ты...

— Что делать, я ведь не могу прервать занятие.

— А я по-твоему должен здесь торчать до полуночи?

— Почему до полуночи? — Накаидзе посмотрел на часы. — Через десять минут у нас перерыв, вот тогда и поговорим.

— Хорошо, я подожду десять минут. — смиловившись Иремадзе и зашагал к своей машине. Он развернул ее недалеко от ворот, включил радио, и над всем полем разнеслись нежные звуки сазандари.

Когда прошло десять минут, Накаидзе объявил перерыв и подошел к «Москвичу».

— Ну вот я и освободился, — сказал Накаидзе. — Чем могу быть полезен?

— А-а... Ты еще издеваешься? — через силу улыбнулся бухгалтер. Он вылез из машины и сразу повысил голос: — Так вот, сейчас я тебе скажу. Насколько мне известно, Вахтанг Накаидзе зачислен в совхоз участковым агрономом, а не тренером. Не так ли?

— Ну и что из этого?

— Ничего. Просто ты мне объясни, почему вмешиваешься в дела детей и портишь им нервы? По-моему, у тебя и без того хватает забот и на твоём испорченном участке.

— Это мое личное дело, понятно? Свободное время я использую как хочу.



— Да, конечно. Никто тебе ничего не навязывает. Но ты странный человек. Неужели ты не можешь найти себе какое-нибудь другое занятие? Ну хоть бы гуляй, кути, а детей оставь в покое. Слышишь? Пусть они сами себе играют как хотят. Что тебе до них? Ты ведь им не ровесник.

— Верно, Полихрон. Они мне в сыновья годятся. Поэтому я их и учу, что они дети и играть еще не умеют. И, как каждый педагог, люблю своих питомцев. Кроме того, я считаю, что делаю полезное дело. Да разве не приятно сознавать, что пройдет немного времени и ребята станут сильными, здоровыми, овладеют спортивным мастерством.

— Ха-ха... Как будто они овладеют системой вывода баланса, — захохотал Полихрон, довольный своей остротой. — Ну хорошо, положим ты делаешь хорошее дело. Но позволь тебя спросить, чего тебе надо от моего Дато? Что он дурного сделал?

Тут Накаидзе подробно рассказал Полихрону о вчерашнем поступке его сына.

— Что, что? — схватившись за голову, закричал Иремадзе. — Да ты тав говоришь, будто мой Дато не ребенок, а зверь какой-то.

— Я этого не говорил, — спокойно ответил Накаидзе, — но интересно, как вы сами назовете его поступок?

— О каком поступке ты говоришь,

агроном? Мой сын не мог этого сделать, не мог. Это тебе, наверняка, показалось, или ты просто выдумал, клянусь богом. И этой своей выдумкой ты толкаешь детей на ссоры. Ты, взрослый человек...

— Все это больше подходит к вам Полихрон, — с усмешкой прервал его Накаидзе.

— Ах, ты еще смеешься?

— Это вы сами вызываете во мне смех своей тупостью.

— Хорошо. Ты скоро увидишь, кому из нас будет смешнее. С тобой, клянусь, вообще и говорить не стоит. Но я еще хотел бы узнать, как ты мог предпочесть эту козявку — поварского сына, моему здоровяку Дато? Из моего сына можно выкроить два таких, как этот Барнавели.

— Зато Гиви ловкий, умный и быстрый парень, — возразил тренер. — И он лучше Дато играет в футбол.

Полихрон скрестил руки на животе и громко расхохотался.

— Ай, ай, ай! Ты характеризуюешь сына поварихи как восходящую звезду футбола. Ну что ж, следи за ним хорошенько. Гляди, чтобы этот хлюпик не растерял по дороге свою душонку. А мне теперь уже все ясно.

Полихрон уселся за руль, рванул с места машину и покатил по ухабам к дороге.

Окончание следует

КУВШИНЫ

В Месхетии нашли старинные кувшины,
Что под землю спали много лет.
Им памятни кровавые години
И сабель янычарских силуэт.

На горловине мастером умелым
Прадедовский был вырезан кинжал.
И гроздья винограда бело-белые
Гончар искусно рядом набросал.

И сабли на кувшинах тех подъяты,
И, кажется, сейчас начнется бой.
Но кувшины смеются, солнцу рады —
Ведь больше нет врагов в стране родной.

Пусть жарко виноградник полыхает,
Кувшины красным пенятся вином.
Сердца их громко песни запевают,
Звучавшие над Грузией давно.

ЦВЕТЫ ВИШНИ

О вишня, как белы твои цветы!
Я юным становлюсь при виде их.
Скрывать не буду вешние мечты —
Любовь опять зовет мой каждый стих.

Дорогу дайте тем, кто жизнь поет,
И старость неизменно гонит прочь.
Кто вечно устремляется вперед,
Как Данко, освещая сердцем ночь.

Звени же мое сердце жизни в такт
И ветви юной вишни обними.
Бегут года — за ними пустота,
Коль пустотою сам заполнил дни.

Всегда за ярким солнцем тень ползет.
Да, смерти никому не избежать:
И сердце потому полней живет,
Весну не уставая воспевать.

О вишня, как белы твои цветы!
Я юным становлюсь при виде их.
Скрывать не буду вешние мечты —
Любовь опять зовет мой каждый стих.



Фильм, который не был снят

В жизни каждого художника есть недописанные страницы, несбывшиеся замыслы. Желтея от времени и покрываясь пылью, лежат рукописи, в которых, кто знает, может, самое сокровенное, недосказанное, то о чем думалось и не раз вспоминалось многие годы, но вернуться уже не было возможности.

Недавно в личном архиве Шенгелая была обнаружена пожелтевшая рукопись-сценарий Михаила Шолохова и Николая Шенгелая к фильму «Поднятая целина».

И вот, сейчас перед нами все документы этого удивительно интересного сценария и неожиданной гибели фильма. Тбилиси — Вешенская... Годы 1933 — 1934. Фильм был снят с производства по личному распоряжению врага народа Берия.

Шенгелая встретился с Шолоховым на передовой позиции борьбы за новую советскую культуру. Режиссер хотел звучать в кинематографии так же, как звучал в поэзии Маяковский, — оперативно и по главным магистралям. Два таких магистральных выступления уже состоялись — «Элисо» и «26 комиссаров». Третьим должна была стать «Поднятая целина». Следуя своему принципу быть на самом сложном и самом нужном участке творчества, художник мечтает о неисследованной еще тогда в советском кинематографе теме коренного переустройства деревни. Именно в отсражении сложных процессов, происходивших в деревне, обнаруживалось в те годы наибольшее отставание советской кинематографии.

Роман Шолохова привел молодого режиссера в восторг. Герои романа — люди больших страстей, убедительная мотивировка их поступков, сложные психологические раскрытия, острые конфликты и, наконец, самое важное — насыщенность романа драматизмом великих исторических событий, — все это было в плане дарования и творческого темперамента Шенгелая.

«Когда я взялся делать «Поднятую целину», мною руководило во-первых то, что это лучшее произведение колхозной тематики в литературе. Оно дает совершенно новый подход, раскрывает совершенно новую жизнь деревни настолько

глубоко и так художественно вразумительно, что сразу стало понятным, насколько то, что мы делали о деревне до сих пор, далеко от того, что нужно делать»¹.

Шенгелая «заболевает» «Поднятой целиной». Страстный, нетерпеливый в осуществлении своих замыслов, он увлекает этой идеей руководство «Госкинопрома» и, заручившись его согласием на постановку фильма, выезжает в Москву, чтобы встретиться с Шолоховым.

В мае 1933 года эта встреча состоялась. Тогда же будущие авторы сценария предварительно обговорили вопросы предстоящей работы над «Поднятой целиной». Это событие сразу оказалось в центре внимания общественности.

Рождение звукового кино постепенно подготавливало более тесную связь кинематографа с передовой советской литературой. В те годы только намечался тот большой приход писателей в кинематограф, который в тридцатые годы дал великолепные по своим идейно-художественным качествам произведения советской кинодраматургии — Вишневского, Погодина, Глагкова. Совместная работа Шолохова и Шенгелая над «Поднятой целиной» была у истоков этого замечательного обращения писательской общественности к кино, у истоков борьбы за партийность молодого советского кинематографа. Возлюнованные известием о возможном сотрудничестве Шолохова, молодые кинематографисты и их союзники-писатели сделали все возможное, чтобы обеспечить этот союз Шенгелая с Шолоховым. О том, какие надежды возлагались на это творческое содружество, можно заключить из письма Фадеева к Шолохову. Вот оно:

«Дорогой Миша!

В бытность в Москве, Шенгелая сказал мне, что вы будете работать над экранизацией «Поднятой целины». Это сообщение меня очень заинтересовало. Дело в том, что сейчас по почину нашему и киноработников совместная работа писателя с режиссером входит в моду. Так, например, Либединский рабо-

¹ Стенограмма выступления Н. Шенгелая на обсуждении сценария «Поднятая целина» в АРК, 1933 г.



тает с Калатозовым, Лапин — с Эсфирью Шуб, я с Довженко и т. п. Для того, чтобы осуществить такой контакт, пришлось преодолеть немало косностей, и сейчас на подобного рода совместную работу смотрит, можно сказать, весь кинематографический мир: выйдет ли что? Собраться в Москве, мы, инициаторы этого дела — Либединский, Калатозов, Шенгелая, я и т. п., взяли на себя своего рода коллективную ответственность за работу каждой из групп. К этому делу мы хотим привлечь и тебя. Специально пишу тебе письмо для того, чтобы ты занялся работой над картиной вплотную. Шенгелая очень талантливый режиссер, но организовать весь огромный материал, которым он будет располагать, работая над «Поднятой целиной», ему будет очень трудно без твоей помощи. А хочется, чтобы картина вышла по-настоящему хорошей... Мне кажется, что совместными силами мы могли бы двинуть дело развития советского кино и тем премного помочь Советской власти. А то в последнее время просто смотреть нечего.

Как идет твоя работа над второй книгой «Поднятая целина» и пишешь ли дальше «Тихий Дон»? Подай весточку о себе.

Крепко жму руку Фадеев»¹.

Вскоре после этого письма на Дон, в станицу Вешенскую приезжает Шенгелая. Спустя несколько месяцев к нему присоединяются другие члены группы: сорежиссер Николай Санишвили и оператор А. Поликевич. Началась напряженная работа над сценарием «Поднятой целины». Такого серьезного, взаимобогащающего сотрудничества писателя и режиссера история советского кино в то время еще не знала.

Перед нами кина рукописей, в которых рукой Шенгелая сделана разработка каждой главы романа на ряд маленьких тем. Итог каждой главы, подчеркнутый красным карандашом, акцентирует внимание на ее основном мускуле, намечает первые шаги превращения литературного произведения в кинематографическое.

Каждый вечер по этому коротенькому плану Шолохов писал литературный сценарий. Это был художественный пересказ, сделанный с учетом нового распределения акцентов. Шолохов писал его наизусть, отложив в сторону роман и заглядывая только в режиссерские планы. Шенгелая прочитывал эти пересказы и делал в них свои пометки, необходимые для дальнейшей работы над фильмом. Все написанное близко к роману, но оно уже режиссерски осмыслено, приближено к кинематографическому по-

вестованию. Некоторые главы пересказаны Шенгелая, и тогда в его рукописях рукой Шолохова сделаны поправки.

В декабре 1933 года Шенгелая закончил работу над режиссерским сценарием. За год совместной работы проявилось полное взаимопонимание между Шолоховым и Шенгелая, взаимопонимание друзей и единомышленников, служащих одному общему делу. Подчеркивая эту удивительную слаженность в работе над сценарием, Шолохов писал:

«Закончив литературную обработку сценария, я смело веряю его режиссеру для воплощения моих идей и мыслей в полноценное кинематографическое произведение. Наша совместная работа над сценарием показала, что Шенгелая понимает меня и одинаково со мной думает о героях «Поднятой целины». Это позволяет надеяться, что в героях фильма я узнаю близких мне, созданных мною людей...»

Я хочу, чтобы характеры и внешность актеров соответствовали качествам людей моего романа. Я полагаю, что Шенгелая справится с этим. Он понимает, чего я хочу. Взаимопонимание, приобретенное совместной работой, поможет нам осуществить наше общее желание — сделать хороший фильм»¹.

Для того, чтобы воссоздать на экране полифоническую драматургию романа Шолохова, авторам пришлось немало нарушить сюжетное построение. Замечательная экспозиция романа, построенная на постепенном введении новых персонажей, новых драматургических мотивов, в экранном воплощении выглядела бы затянутой. Поэтому авторы сценария уже в первой его части дают точную расстановку классовых сил и мотивировку действия, которое начинается сразу, с первых кадров. С приездом Давыдова мобилизуется крестьянская беднота и начинается первое наступление за колхоз. В сценарии показано и прибытие Полдцева, вызвавшее немедленное оживление кулачества, сущность которого уже в первой части вскрывается убийством Хопрова (в романе это происходит лишь в 14 главе). Таким образом, к концу первой части сценария (она печатается ниже) создается ясная картина расстановки сил. «Первая часть, по существу, определяла сценарий. Нет ни одного человека, который бы не был дан в экспозиции, в своем отношении к основному действию».

Вторая часть — собрание в школе — для кинематографа писалась заново. Шенгелая придавал этой сцене особенное значение. Он поражался способности писателя видеть каждого из 500 человек, присутствующих на собрании, и хотел непременно передать это кинемато-

¹ Письмо Фадеева к Шолохову. 1933 г. Личный архив Н. Шенгелая.

¹ Газета «Кино», 22 февраля 1934 года.

графу. Точные реплики, постулавшие из зала, раскрывали характеры крестьян, их отношение к кулачеству, рисовали яркую картину социального положения в Гремячем. Кроме того, собрание начинало тему о великом значении коллективизации.

Исходя из позиции высокой партийной принципиальности, авторы сценария раскрывали социальный конфликт романа, не сглаживая и не обходя остроту борьбы за социалистический строй в деревне, не боясь зрительно, действительно показать нелепые результаты «левого» перегиба. Они написали новый эпизод, которого не было в романе.

У Шолохова сказано:

«На следующий день на закрытом собрании гремячинской ячейки было единогласно принято решение обобществить скот, как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам гремячинского колхоза... **КРОМЕ СКОТА БЫЛО РЕШЕНО ОБОБЩЕСТВИТЬ И ПТИЦУ**». Эта фраза послужила стержнем создания нового эпизода. Дальше есть еще такой абзац: «Давыдов вначале уклонно выступал против обобществления мелкого скота и птицы, но Нагульнов решительно заявил, что если на собрании колхоза не провести решения об обобществлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана».

Теперь посмотрим, как из этих прозаических фраз вырастает эпизод во дворе гремячинского бедняка Демки Ушакова: «Разгороженный двор. Мимо двора крестьяне гнали скот. Во двор, окруженные бабами и крестьянами, державшими в руках и в корзинах домашнюю птицу, шли Нагульнов и Ушаков. Окружающие остались во дворе. Демка и Нагульнов направились к хате. Второй план. В маленькой комнатке с запертыми иными окнами на печи сидела, окруженная полуголыми детишками, жена Демки Ушакова.

Первый план. Излатанная рубаха ее и детские рубашки висели на расставленных у печи рогах.

Второй план. Нагульнов и Демка вошли, вступив в хату облако пара. Увидя Нагульнова, жена Демки стала тщательнее закрываться шалью. Обращаясь к ней, Нагульнов сказал:

— Почему курей не несешь в колхоз? Еще жена члена правления колхоза.

Первый план. Жена, натягивая на грудь платок, хотела было ответить, но ее перебил...

Первый план... муж. Обращаясь к Макару, Ушаков сказал:

— Я же тебе говорил, Макарь! Ей не в чем идти!..

И указывая на висящую около печки одежду, проговорил:

— Видишь, одежду постирала!..

Первый план. Макарь сердито взглянул на Ушакова, огрызнулся:

— Неси сам!..

Второй план. Дети Ушакова, почти голые, ловили кур по комнате.

Крупный план. Самый маленький из семейства Ушаковых упустил курицу и та с криком...

Второй план... взлетела на стол. Демка хотел было ее схватить, но с печи проворно прыгнула его жена. Схватив курицу, умоляюще сказала:

— Демка, оставь хоть эту курицу.

Первый план. Демка ласково посмотрел на нее и ответил:

— Милушка моя, раз мы теперь колхозники, надо сдать все до пера.

Крупный план. Жена медленно опустила протянутую за курицей руку и на глазах ее появились слезы.

Второй план. Демка взял обеих кур и петуха, прижал их к боку и вышел, захлопнув за собою двери. Затемнение.

Во главу угла фильма по замыслу сценаристов был поставлен образ двадцатипятилетнего коммуниста Давыдова. Каким представлял его себе грузинский режиссер? «Давыдов—это человек, который с полным человеческим сознанием, всеми извилинами своего мозга находится в партии, в революции. Этот человек дышит только этой идеей, только ею живет. Кому-нибудь может показаться, что это перегиб Давыдова, но по моему этого нет...»¹. По мнению Шенгеля, эта беззаветная преданность делу революции особенно ярко проявляется в эпизоде бабьего бунта, когда, истекая кровью, Давыдов находит в себе силу и выдержку отшучиваться перед толпой разъяренных казаков и не отдает им ключей от амбаров с семенным фондом: «Для вас же, сволочей, делаем!.. А вы меня убиваете? Не дам ключей!.. Факт, не дам!»

Этот эпизод Шенгеля разработывает особенно подробно. Он предполагает снять его движущейся камерой, для того чтобы «придержать внимание на Давыдове, посмотреть на него, рассмотреть как в чье лицо он смотрит, что и как он сказал». То, что движет им в эти минуты, выше обыкновенной человеческой честности, обязывающей выполнить свой долг. Это подлинно новое качество — большевистская сознательность. И Шенгеля составляет подробный режиссерский план этого эпизода, заранее продумывая не только планы, но и движение аппарата. Ему хочется как можно бережнее, точнее передать на экране это новое качество человека, рожденного Октябрем.

¹ Стенограмма выступления Н. Шенгеля на обсуждении сценария «Поднятая целина» в АРК.



Во второй половине сценария все сильнее звучит тема перевоспитания крестьян-казаков, которая развивается параллельно с кадрами весенней страды на нетронутой веками целине. В этих эпизодах авторы пошли по линии внутреннего раскрытия психологии героев, широко используя специфику кинематографа.

Шенгелая верно угадал финал фильма — пахота на целине. На самом деле книга этим не заканчивается, но композиционный финал первой книги «Поднятой целины» именно здесь. Здесь находится логическое развитие сложного характера Давыдова.

С завершением работы над сценарием не кончилось участие писателя в съемке фильма. Вместе со съемочной группой он разезжал по хуторам и станицам, помогал друзьям из Грузии проникнуть в хозяйственные, бытовые особенности казачьей жизни.

В Вешенской, на хуторе Диченском, Шолохов показывал молодому режиссеру прототипов своего романа — старика с хитрым, лукавым взглядом, с реденькой бородкой, растущей неровными, отдельными кустиками, с которого он писал Щукаря, директора вешенского маслобойного завода, высокого, широкогрудого парня, который внешностью и биографией удивительно напоминал секретаря ячейки ВКП(б) Гремяченка Макара Нагульнова. Свыше 150 снимков было собрано в альбомы. По этим снимкам художник Уткин сделал эскизы костюмов и декораций.

По замыслу сценаристов большая роль в эмоциональном строе фильма отводилась музыке, казачьей песне. Фильм должен был начинаться с песни, которая в первом эпизоде помогала создать экспозицию характера Половцева. В дальнейшем песня не раз выступала как элемент драматургии.

В станице Большенапаловской Санишвили удалось собрать своеобразный слет старых казачьих песенников. Много

километров по бездорожью исколесил он вместе с оператором А. Полкевичем в поисках типажа и природы. В нескольких километрах от станицы Каменской, на хуторе Диченском начались съемки зимней природы.

Одновременно в Москве проходили актерские пробы. Шолохов хотел, чтобы в роли Лушки снялась Нато Вачнадзе. На роль Давыдова пробовали актера Ю. Богомолова, Щукаря должен был сыграть В. Дорофеев.

22 февраля 1934 года газета «Кино» посвятила страницу рассказу о ходе работы над фильмом, который должен был стать событием в нашем искусстве прозвучать оперативно и политически остро в годы, когда сплошная коллективизация еще не везде была закончена.

Беда пришла неожиданно. Без предварительных разговоров и объяснений фильм был снят с производства, режиссер Шенгелая вместе со съемочной группой срочно отозван в Тбилиси. Попытки протестовать не увенчались успехом.

Только в 1939 году режиссером Ю. Райзманом была осуществлена постановка «Поднятой целины». Но материалы сценария Шолохова и Шенгелая использованы не были. Единственный экземпляр сценария хранился в личном архиве Шенгелая, который всю свою жизнь надеялся поставить этот фильм. Как известно, и Шолохов никогда больше не выступал соавтором по сценариям последующих постановок «Поднятой целины». Фильм Райзмана был целиком снят в павильонах, выстроенных на Мосфильме, и, естественно, был задуман совсем иначе.

Сценарий Шолохова и Шенгелая к фильму «Поднятая целина» — одно из самых совершенных драматургических произведений своего времени, созданных коллективной мыслью писателя и режиссера. Эта неспетая песня связана с нашими днями теми славными путями дружбы и взаимообогащения, которыми продолжает идти передовой отряд нашего многонационального искусства.

Михаил ШОЛОХОВ
Николай ШЕНГЕЛЯ

Поднятая целина

Часть первая

Из затемнения: полусумрак. Степь. Неровно одетая снегом, ненаезженная дорога, по сторонам из-под снега торчат колеблемые ветром верушки бурьяна.

По дороге верхом на оседланной лошади походной рысью едет человек. На плечах у него башлык, одет в казачий с разрезом сзади отороченный мехом полшубок, голова его покрыта белой курпичайтой папай.

Едет шагом, приподымаясь на стремянах, настороженно смотрит вперед, на секунду приостанавливает коня, по-волчьи озираясь, и снова трогает его движением ног.

По косогору человек едет уже шагом, спускаясь в ложбину, за нею вдаль под косогором видны черные купы садов, дворы хутора Гремячий Лог.

Степь. Направо вдаль курган, ближе — дорога. По дороге, перенесенной снегом, бегут запряженные в сани дышловые, дымящиеся от пара лошади.

За санями, держась за грядущку, одетый в черное пальто и шапку, бежит человек. На бегу он пристукивает каблуками ботинок, и, отрываясь от саней, зябко дует на замерзшие руки.

Узкий переулоч в Гремячем Логу. По обеим сторонам переулоча — каменная, низкая огорожа, за нею стволы и голые ветки фруктовых деревьев и тополей. По переулочу едет всадник.

Он подъезжает к небольшой речушке, спешивается, откинув голову, раздувая ноздри, жадно вдыхает морозный воздух, потом подтягивает подпругу седла и неспешно, но ловко садится на коня. Речку переезжает вброд. Лошадиные подковы звякают по камням, журчит вода.

На той стороне всадник останавливается. Издали слышны людские голоса, топот конского бега, скрип полозьев.

Всадник торопливо надевает башлык и, слегка коснувшись конского крупа плетью, скачет машистой рысью.

Степная дорога. Человек бежит сзади саней, потом прыгает в сани и ложится на бок, кутая голову воротником пальто.

Всадник выезжает на улицу. Навстречу ему, оскользаясь, идет по дороге женщина. Приостановив коня, всадник спрашивает:

— Скажи, тетка, где тут Яков Островнов живет?

Женщина останавливается, сдвигает с губ платок, переспрашивает:

— Яков Лукич-то?

Всадник нетерпеливо щелкает по голенищу плетью, утвердительно кивает головой.

Женщина поворачивается, указывает рукой:

— А вон за тополем его курень.

Всадник усталым движением поводьев трогает коня и едет в направлении указанного дома.

За дощатым забором — крытый черепицей дом. Возле дома — то-



Дарыбан улмыш
Султан

Талант пертеш
Кочулуша

Из заткынышты: Көчкөтү керөпкө адептөз селөшкө,
~~Визитер~~ ~~не~~ ~~таг~~ ~~келдөшкөн~~ ~~дөртөз~~, ~~не~~ ~~баш~~
 сөзгөкәш из коз селәш торган келдөшкөн
 Көчкөтү керөпкө бурчкәш
 Не дөртөз беркәш не оскантөз гөшкәш
 Көчкөтү керөпкө чалык. Не келәш чышкәш Гашкәш, ошкәш
 в казактәш с рязрөзөш селәш откәшкөннәш кәш
 кәшкөтүшкәш; Көчкөтү сөз көчкөтү беләш күр
 көчкөтүшкәш кәшкәш? Селәш шөгәш, Көчкөтүшкәш
 не селәшкәш, Көчкөтүшкәш кәшкөтүшкәш
 не селәшкәш, Көчкөтүшкәш кәшкөтүшкәш
 Көчкөтүшкәш сөз кәшкөтүшкәш изгәш
 Не кәшкөтүшкәш кәшкөтүшкәш шөгәш, селәш
 сәш в көчкөтүшкәш, Не кәшкөтүшкәш көз көчкөтүшкәш
 Көчкөтүшкәш көчкөтүшкәш көчкөтүшкәш, Көчкөтүшкәш

Рукопись сценария М. Шолохова и Н. Шенгеляя.

поль. Ворота и калитка выходят на улицу. Улица и двор безлюдны. К калитке подъезжает всадник, спешивается... и, оглянувшись по сторонам, торопливо вводит лошадь во двор. Подходит к окну, осторожно стучит по стеклу рукояткой плети... Продолжает стучать. Дверь из сеней открывается, на крыльцо выходит Яков Лукич Островнов. Небольшого роста казак, лет пятидесяти, с окладистой русской бородкой и серыми глазами. На нем ватный сюртук, накиннутый в напашку, вобранные в белые чулки штаны, он без шапки. Вматриваясь в приезжего, он не спеша сходит с крыльца.

Яков Лукич остановился, внимательно смотрит на приезжего, не угадывая его, несколько растерянно улыбается.

Приезжий видя, что его не узнают, раздвигает башлык, сдержанно улыбаясь, спрашивает:

— Половцева помнишь?

Яков Лукич, пораженный неожиданной встречей, испуганно озираясь, побледнел и зашептал:

— Ваше благородие... Господин эсаул!...

Приезжий сдвинул брови, предостерегающе говорит:

— Ну-ну, ты, потише! В доме у тебя чужих никого нет?

Яков Лукич, отрицательно качая головой, взял из рук гостя повод, повел лошадь к конюшне. В ожидании хозяина Половцев остался у крыльца, разминая ноги и устало потягиваясь.

На въезде в хутор Гремячий Лог, по дороге, по которой проехал Половцев, показались лошади в дышловой упряжке. Кучер, откинувшись назад, сдерживал туго натянутыми вожжами шедших вскачь лошадей. На раскате сани стукнуло о кочку и из них легко выпрыгнул одетый в черное пальто и шапку смеющийся человек с щербатиной во рту.

Яков Лукич и Половцев вошли в кухню. Половцев снял папаху, улыбочиво сощурился и поклонился сидевшим на лавке женщинам. Жена Якова Лукича отложила недовязанный чулок, сдержанно поклонилась гостю и выжидающе взглянула на мужа; сноха, пряхшая шерсть, едва взглянув на гостя, продолжала ритмически покачивать ногой и неприемным движением пальцев сучить нитку; сын Якова Лукича, сидя на низеньком стульчике возле печки, положил на колени неподшитый валенок, внимательно рассматривал Половцева, его крутой лысеющий лоб и крепко сжатые массивные челюсти.

Яков Лукич кинул на лавку сюртук и, суетливо одергивая рубаху, сказал, обращаясь к жене:

— Соберите человеку повечерять.

А потом повернулся к Половцеву, слегка поклонился ему и пошел к двери горницы, пропуская гостя вперед себя.

Они вошли в горницу. Половцев медленно оглядел чинно расставленные возле стен венские стулья, снял полшубок, положил его на сундук, подошел к столу и, мимоходом взглянув в стенное зеркало, остановил взгляд на висевшем рядом с зеркалом, вправленном в деревянную рамку удостоверении.

Сунув руку за пояс толстовки, он прочитал удостоверение, с чуть насмешливой улыбкой повернулся к Якову Лукичу.

Тот приосанился и с гордостью сказал:

— Да, был примерным хозяином-культурником. За это и почетную грамоту прислали. Агроном даже пучок моей пшеницы-горновки взял в Ростов на показ властям.

За это время хозяйка и сноха накрыли скатертью стол, принесли в миске щи с мясом и на тарелке соленые помидоры.

Яков Лукич пригласил Половцева к столу. Тот сел, начал есть. Наблюдая, как Половцев ест, Яков Лукич присел на сундук, сворачивая сигарку, спросил:

— У вас в станице про коллективизацию слышать аль нет?

Половцев, прожевывая, взглянул на Якова Лукича исподлобья, помедлив, коротко ответил:

— Слышать.

Яков Лукич закурил, сделал несколько затяжек, вздохнул.

— Эх, стало быть, от этой песни везде слезьми плачут.

Половцев отодвинул тарелку, перекрестился на образа, обращаясь к хозяину, сказал:

— Спасибо за хлеб-соль. Теперь давай потолкуем!

Хозяйка вошла, приняла со стола и вышла в кухню. Следом за ней шагнул Половцев, плотно притворил дверь и запер ее на крючок.

В раскрытые ворота на двор Гремячинского сельсовета въезжали на рыси пароконные сани. Около крыльца, покуривая, толпились человек пять казаков.

Поравнявшись с крыльцом, человек в черном пальто спрыгнул с саней и, растирая щеку перчаткой, пошел за санями к конюшне. Из дверей конюшни валил пар. Кучер остановил лошадей, слез с облучка, постучал нога об ногу и начал распрягать.

Человек в черном пальто подошел к лошадям и скоро стал отцепливать постромки.

Стоявшие возле крыльца казаки переглянулись, двинулись к саням, подошли и полукругом стали. Человек в пальто замешкался, стягивая шлею с конской спины.

...Усмотрев это, старый дед в белой бабьей шубе, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился:

— Гляди брыкнет, товарищ!

Человек в пальто освободил из-под конской репицы шлею, повернулся к старику, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.

Черный, как грач, заросший по самые ноздри курчавой бородой, казак, заметив, что у человека в пальто нет зуба, насмешливо спросил:

— А зуба-то нет, случаем не кобыла выбила?

...И человек в пальто, отрицательно качая головой и по-прежнему улыбаясь, ответил:

— Нет зуба, лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?

...Казаки сдержанно улыбнулись, а старик в белой шубе с мнимым сокрушением махнул рукой:

— Я, парень, откусался...

...И, потрясая согнутым указательным пальцем, закончил:

— Мой зуб-то уж который год книзу глядит...

Чернобородый казак смеялся, широко раззевая белозубую пасть, откидываясь и хватаясь за кушак. Человек в пальто угостил казаков папиросами, пошел к крыльцу сельсовета. Казаки последовали за ним.

Около крыльца старик в белой шубе на ходу коснулся рукой плеча человека в пальто, спросил:

— Дозвольте спросить вашу милость, товарищ, вы не за хлебозаготовками приехали?

Человек в пальто, остановившись на нижней ступеньке крыльца, чуть обернувшись, ответил:

— Нет, я приехал помочь вам организовать колхоз.

Казаки сдержанно стали переглядываться, и старик в белой шубе надвинул на глаза треух, с откровенным разочарованием свистнул и пошел от крыльца, шаркая растоптанными валенками. Человек в пальто, твердо ступая по скрипучим ступенькам, взшел на крыльцо, шагнул в раскрытые двери сеней.

Человек в пальто вошел в комнату. За столом сидел прямоплечий человек с орденом Красного Знамени на рубашке военного покроя. Краснознаменец встал из-за стола, выжидающе глядя на пришедшего. Тот подошел, протягивая руку, сказал:

— Я рабочий-двадцатипятилетний, уполномоченный райкома, ты секретарь ячейки, товарищ?

Пожимая протянутую руку, краснознаменец отвечал:

— Да, я — секретарь ячейки Нагульнов, садись, товарищ. Председатель совета сейчас придет.

...И, подойдя к стене, Нагульнов постучал в нее кулаком.

Из дверей соседней комнаты вышел небольшой человек в козьей папаше, сбитой на затылок, в сюртуке и казачьих с лампасами шароварах, вобратых в белые чулки, с косым шрамом на лбу.

Нагульнов, обращаясь к приехавшему, сказал:

— Это и есть председатель совета Разметнов Андрей.

Разметнов, улыбаясь и глядя ладонью белесые усы, с достоинством пожал руку приехавшему, спросил:

— А вы кто такой будете? Ваши документы.

Приехавший достал из внутреннего кармана пальто удостоверение, подал его Разметнову.

Тот внимательно прочитал удостоверение, в котором значилось, что приехавший двадцатипятилетний, рабочий Краснопутиловского завода, Давыдов, уполномочивается райкомом партии для проведения в Гремячем Логу двухмесячного похода за сплошную коллективизацию.

Распахнув пальто, зябко пожимая плечами, Давыдов присел к столу, сказал:

— Завтра мы начнем с собрания бедноты, а сейчас расскажите мне, товарищи, о положении в Гремячем Логу и дайте поимущественный список.

Нагульнов сел напротив Давыдова и, собираясь с мыслями, начал разглаживать ладонями валявшуюся на столе бумагу, а Разметнов за спиной Нагульнова подошел к шкафу, раскрыл его и, взяв из папки список, подал его Давыдову.

Горница в доме Якова Лукича. Около лежанки разостлана полость. На полости шуба и к стене — подушка. Около стола стояли Половцев с самокруткой в зубах и Яков Лукич, опершийся локтями о стол, с ручкой в пальцах.

Яков Лукич начал было подписывать какую-то бумагу, потом выпрямился, осторожно положил ручку на стол, сказал:

— Под топор голову кладу... Вы меня не невольте, дайте подумать. Половцев, выслушав Якова Лукича, ничего не сказал в ответ, стал закуривать, а Яков Лукич тихо вышел из комнаты.

Сойдя с крыльца, Яков Лукич постоял в раздумье, медленно пошел к скотиньему базу.

Открыл ворота, вошел, стал подгребать ногами набитое возле яслей сено, поднял оханку сена, бросил в ясли и снова остановился в раздумье...

...По базу медленно передвигались четыре быка. Один из них подошел к яслям.

Яков Лукич посмотрел на него невидящими глазами, ссутулил плечи, вышел.

Направился он к конюшне, вошел в открытую дверь и, подойдя к привязанной в станке лошади, привычным движением, любовным похлопыванием ладони по крупу, заставил лошадь подвинуться к стенке, заглянул в ясли, поднял упавшие с гвоздя ременные вожжи, хотел повесить их, помедлил и вдруг, кинув вожжи, решительно вышел из конюшни.

Пошел к дому.

Яков Лукич вошел в горенку к своей старухе-матери, которая, свесив босые ноги, сидела на лежанке.

Стал на колени, размашисто перекрестился и, нагнув голову, сказал:

— Мама, благословите, ради Христа!

Старуха, испытующе глядя на него сверху вниз, подняла руку, раздельно сказала:

— Коли на доброе дело, то господь благословит и я благословляю.

...Она перекрестила сына. Тот поднялся с колен, тылом ладони вытер пот со лба и медленно вышел.

В горнице спиной к печи стоял Половцев. Яков Лукич вошел, полвинулся к столу и сказал:

— Я решил, Александр Анисимович... приказывай.

Половцев оторвался от печи и, медленно подходя к столу, достал из грудного кармана бумажку. Положил ее на стол, потянулся через угол стола, взял ручку, подал Якову Лукичу.

Тем временем Яков Лукич взял со стола бумагу, стал читать ее, напряженно шевеля губами.

...Половцев стоял около него, держа в протянутой руке ручку.

Яков Лукич кончил читать расписку, в которой было написано: «...Обязуюсь свое достояние принести на алтарь православного отече-

ства. В чем и подписуюсь». Он взял ручку, внизу каракулями стал выводить «Яков Лукич Остров...»

Половцев, стоя сзади Якова Лукича, достал из кармана наган, стал поворачивать большим пальцем барабан.

Яков Лукич, услышав за спиной щелканье наганного барабана, резко повернулся... и замер, увидя в руках Половцева наган. Продолжая поворачивать барабан нагана, Половцев сказал:

— За измену... гляди, Лукич! Шесть тебе, а седьмую...

Яков Лукич выдержал взгляд Половцева, ничего ему не ответил, повернулся и, нагнувшись над столом, с размаху dokonчил подпись: «нов».

Комната была набита людьми. Люди сидели на лавках и стульях, некоторые примостились возле печи, сидя на корточках. Под потолком плавал табачный дым. Лица людей лоснились от пота.

В переднем углу за столом сидели Давыдов, Нагульников и Разметнов. Давыдов только что кончил говорить. Он сидел, вытирая пот с лица и шеи скомканным грязным платком. Отовсюду слышались голоса:

Густой мужской голос: — Артемом и батьку хорошо бить!

Певучий бабий голос: — Хозяйствовать умно надо!

Демка Ушаков: — А ты думала как? Сдуру как с дубу?

Дед Шукарь: — Согласные с колхозом.

... В это время с передней лавки встал высокий широкоплечий казак, в черной угрюмейшей папахе, снял ее, обращаясь к Давыдову, заговорил:

— Чего ты, чудак, нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами тут на ноги становили. В колхоз пойдем с потрохами, только машины дайте... Не при чем нам жить. На быках-то одной рукой погонять, другой слезы утирать—можно и без колхоза. А то первые года, как при старом режиме: ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать, а у кого нечего? А это я за что получил? За что получил ошкamelки кадетского гостинца?

Любишкин пошагал к столу, на ходу расстегивая рваную мотню шаровар. А подойдя, заголил подол рубахи, прижал его подбородком к груди.

На смуглом животе и бедре покорно обнажились стянувшие кожу страшные рубцы.

Вдова Анисья возмущенно крикнула:

— Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил!..

Демка Ушаков презрительно скосил на нее глаза, спросил:

— А ты бы хотела?

Любишкин, обращаясь к Анисье, сурово сказал:

— Молчи, тетка Анисья. Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показывать! Пушай глядит! Затем, что ежели так дальше жить, мне один черт, нечем будет всю эту музыку прикрывать. Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж не ходи, напужаешь до смерти!..

Сзади послышался разноголосый смех и разговор. Дед Шукарь вскочил, крикнул:

— А ты бы лопухом прикрыл нежные места! Лопухом!

Бабий голос: — Замолчите, срамотники!

Мужской бас: — Ему лопух-то нужен с решето... где его найдешь такой?

Ушаков: — Воистину!

Разметнов шептал что-то, наклонясь к уху Давыдова, улыбаясь. Нагульников хмурился и подмигивал Любишкину.



...Любишкин опустил рубаху, застегнул штаны.
...Давыдов постукал кулаком по столу, крикнул:
— Тише, граждане!

Гул голосов стал затихать, тогда Давыдов кивнул головой Любиш-
кину:

— Продолжай!

Любишкин, оглядываясь, снова повернулся лицом к столу, сказал:

— Продолжаю. Видно, воевал я с кадетами за то, чтоб богатые
опять лучше меня жили? Так, товарищ рабочий?

...Давыдов поощряюще качал головой.

...Любишкин перевел взгляд на нетерпеливо ерзавшего по лавке
Нагульнова, сказал, обращаясь к нему:

— Ты, Макар, мне не мигай! Я раз в году говорю, мне можно! Я
свою боль открываю: дозвоьте кулаков разгромить, дозвоьте нам ма-
шины и быков ихних забрать, — тогда мы в колхоз пойдем. А то разгово-
ров много, чтобы кулаку прикорот сделать, а он растет из года в год и
солнце нам застит!

Любишкин яростно сорвал с головы папаху, кинул под ноги Давы-
дову, крикнул:

— Чего же ты красные слова точаешь, вокруг да около ходишь, а
дела не говоришь?!.. Тебя на это, что ль, партия уполномачивала!?

Любишкин, с сапом дыша, повернулся, дошел до лавки и тяжело
опустился на нее.

Давыдов тем временем встал, снял пальто, отдельно заговорил:

— Ты, товарищ партизан, ломишься в открытую дверь. В этом и
заключается сейчас политика партии, чтобы уничтожить кулака.

Насмешливый голос из толпы: — Налогом, что ли, уничтожить?

Давыдов, сжимая кулак, с горячностью возразил:

— Нет, не налогом, а уничтожить как класс. Кулака терпели мы
из нужды, он хлеба больше, чем колхозы давал.

Собравшиеся слушали внимательно слова Давыдова...

Комната Нагульнова. Направо от дверей в углу кровать. Стол.
Над столом — зеркало. Несколько стульев. Раскрытый сундук. Жена
Нагульнова — Лушка, стоя перед зеркалом, поварачивалась, одергивала
на себе сбортчатую юбку, перегибалась назад, приподнимая подол, рас-
сматривала, как сидит на ней юбка.

Потом, как видно, недовольная осмотром, проворно и досадливо
сняла юбку через голову, подбежала к сундуку и, порывшись, вытащила
другую юбку. Быстро надела ее, повертелась перед зеркалом, поочеред-
но вытянула ноги, обмахнула кончиком подола носки полуботинок и
стала старательно пудриться. Смочив пальцы слюной, провела по бро-
вям, покрылась цветастой шалькой.

...Не успела она завязать концы, как услышала скрип двери. С
живостью повернувшись, увидела входившего мужа и Давыдова, держа-
вшего в руке чемодан.

Нагульнов бросил шапку на стол, обратился к жене:

— Это вот уполномоченный райкома Давыдов.

Давыдов поставил к стене чемодан, подошел к Лушке.

...Не скрывая досады, Лушка скинула шаль, бросила ее на сундук и
протянула руку Давыдову, чуть-чуть улыбаясь.

Нагульнов продолжал:

— Он у нас поживет, пока квартиру найдем, а сейчас собери нам
повечерять.

Нагульнов и Давыдов разделись, сели за стол.

Лушка суетливо принесла и поставила на стол тарелку с огурцами и миску с мясом, положила хлеб и поворотно покрылась.

Нагульнов стал резать мясо.

Лушка в напашку накинула кофту, вышла... Не видя того, что она ушла, Нагульнов, не поворачивая головы, сказал:

— Ты хоть бы мясо порезала.

...повернулся и увидел, что Лушки в комнате нет.

Лушка выбежала на крыльцо, одела кофту в рукава и, слышав издали гармошку, улыбаясь, бегом направилась к калитке.

Низкая тесная комната. Под непокрытой кроватью топилась подземка. Хозяин, стоя на коленях, совал в печку мелко наломанный хворост. На кровати сидело несколько человек казаков.

В углу, на сваленных в кучу тыквах, сугорбясь, сидел Хопров-большой, широкогрудый казак (в прошлом артиллерист).

Сидевшие на лавке и на кровати кулаки Фрол Рваный, Лапшинов, Чаев, Лющия, Атаманчуков и Яков Лукич внимательно слушали стоявшего спиной к окну Тимофея Рваного, который говорил:

— Жизнь такая, что если бы банда сейчас была, — сел бы на коня и начал бы коммунистам кровь пущать...

Не успел Тимофей закончить фразы, как Яков Лукич перебил его:

— Кое-где уже пуцают... Но нам, братцы, не банда нужна, а всем надо подыматься.

Хопров, мрачно слушавший разговор, вдруг поднялся, оттолкнул ногой упавшую тыкву, сказал, обращаясь к присутствующим:

— Слышали мы эти речи! Я-то уж не буду подматься супротив Советской власти, а вы угадывайте.

Присутствовавшие с выжидающей тревогой глядели на Хопрова.

А тот надел шапку и молча направился к двери.

Не успел он подойти к дверям, как старик Лапшинов вскочил с кровати и преградил ему дорогу.

Седая борода его тряслась. Он, как-то страшно приседая, разводя руками, спросил:

— Доносить идешь, Иуда?

Хопров поднял на уровень лапшиновской бороды кулак, с бешенством сказал:

— Вы с Островновым из меня все кровь высосали!

Хопров с силой оттолкнул Лапшинова.

Тот, падая, попятился назад, но его поддержал Лукич.

Хопров, держась за дверную ручку, глядя на них, крикнул:

— Хоть раз над вами теперь поликовать!..

И вышел, хлопнув дверью.

Глухой переулочек. Из-за плетня показался Хопров. Он шел быстро, но слышав далекую протяжную песню, на секунду приостановился... Песню пели мужские голоса, покрываемые тенором подголоска.

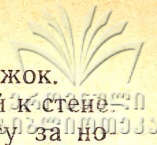
Хопров пошел медленнее. По мере его удаления песня приближалась.

По улице торопливо шла Лушка. Она слышала ту же песню. Звуки ее усиливались.

Лушка вошла в калитку. Песня звучала уже совсем явственно. Лушка на ходу расстегнула кофту и взбежала на крыльцо.

Улыбаясь, она распахнула дверь. Песня ударила ей в уши полным голосом. Притворив за собой дверь, улыбающаяся Лушка остановилась у порога.

Комната была битком набита людьми. В углу, сидя за столом, человек восемь молодых казаков пели песню.



Девки и бабы сидели рядом на лавке, собравшись в кружок.

В углу печи парень что-то говорил девке, прижав ее спиной к стене.

Около кровати на низеньком табурете сидел, закинув ногу за ногу, гармонист с гармошкой на коленях. Красивая полноликая девушка, улыбаясь и засматривая ему в глаза, кормила его из пригоршни семечками.

Певцы, увидя вошедшую Лушку, оборвали песню.

Гармонист повернулся к Лушке лицом, сказал:

— А, Луша... Лапушка не моя, а где же твой разлюбезный Тимофей?

И растянул гармошку, пробуя голоса.

Из-за стола встал один из парней, он подмигнул певцам. Те дружно хватили плясовую песню; один из певцов выскочил из-за стола, пошел навстречу Лушке на присядку, подсвистывая и щелкая ладонями о голенища.

Лушка повела плечами, изогнулась, захватила рукой подол юбки и легко пошла в пляске.

К крыльцу дома Лукича торопливо подошли Лукич и Тимофей. Тимофей остался около крыльца. Яков Лукич поднялся на крыльцо.

Половцев сидел в горенке за столом, что-то писал. На скрип двери он повернул голову, одновременно положил на исписанный лист свою широкую ладонь. Яков Лукич вошел и взволнованно сказал:

— Беда, Александр Анисимович!

Половцев вскочил, сунул в карман исписанный лист, торопливо застегнул воротник толстовки, сурово спросил:

— В чем дело? Говори живее!

Яков Лукич, волнуясь, стал говорить:

— Привербовал я одного казака Хопрова... Он при белых в карательном отряде служил...

Тимофей, стоя возле крыльца, легонько выбивал ногами чечетку.

...Яков Лукич испуганно говорил:

— А нынче собрались, и Хопров восстал против нас... Ушел... донос сделает... Про-падем мы, ваше благородие!

Половцев яростно сорвал со стены полушубок, вытащил из-под подушки наган, покрутил барабан, заглядывая в гнезда, надел папаху и толкнул Якова Лукича к выходу, сказав:

— Захвати топор!

Оба вышли из горницы.

По проулку шли втроем, молча.

Через плетень перелезли на гумно...

К хате Хопрова шли по нетронутому снегу, друг за другом, шаг в шаг, оставляя один след.

Полутемная комната в хате Хопрова. Хопров и его жена лежат на кровати. Из недавно протопленной подземки падал на пол мягкий свет.

В двери послышался негромкий, но настойчивый стук.

Хопров приподнял голову.

Стук повторился...

Кряхтя, Хопров встал, направился к двери.

На крыльце хаты Хопрова стояли трое. Заслышав изнутри шаги Хопрова, Тимофей отодвинулся за Лукича. Половцев проворно выхватил из полы полушубка топор...

Дверь открылась, и в просвете показалась фигура Хопрова.

В этот момент Половцев с силой взмахнул топором.

Хопров качнулся и упал навзничь, тяжестью своего тела распахнув дверь в кухню, где спала его жена.

От грома падения жена его привстала на кровати и увидела лежавшего на полу мужа, через которого шагнул в комнату с топором в руках Половцев.

Пустой двор Хопрова. Стояла сумрачная тишина. Срывалась легкая метель. С крыши упала ледяная сосулька. На перилах крыльца белел молодой пушистый снег.

Плотно закрытая в сени дверь осторожно открылась. На крыльцо вышел Половцев, за ним — Тимофей и Лукич.

Половцев пьяно качнулся, снял папаху, вытер ею лоб и, нагнувшись, стал хватать губами нападавший на перила свежий снег.

В комнате, где происходили игрища, девки и парни стояли, собравшись в круг, хохотали.

В середине круга под «страдания», наигрываемые на гармошке, выхаживал парень, обутый в чудовищно растоптанные валенки.

Одна из девок вдруг взвизгнула от щипка сзади и, повернувшись, увидела Тимофея.

Тимофей, щипая и расталкивая девок, перешел круг и, подойдя к гармонисту, протянул руки за гармошкой. Он стал брать гармошку и уронил ее на пол.

Тихо засмеялся...

Поднял, хотел накинуть ремень на плечо и снова уронил... Пошевелил пальцами, засмеялся.

Лушка презрительно сказала:

— Нажрался уж гдей-то! Гуляка!

Тимофей схватил гармошку и уверенно заиграл.

Одна из девушек, приплясывая, вошла в круг.

Половцев вошел в свою горенку, снял и повесил на гвоздь полушубок.

Дверь хаты открылась. На крыльцо вышел гармонист, наигрывая «страдание», за ним толпа расходившихся с игрища.

В горенке перед иконой на коленях стоял раздетый Половцев, крестился и, касаясь рукой половицы, клал земные поклоны.

На улице разошедшиеся с игрища стали разбиваться на пары. Большая группа пошла с гармонистом...

...А Лушка с Тимофеем свернули в первый переулок.

Половцев, стоя на коленях, глухо шептал:

— Боже милостивый, всевидящий, справедливый! Приблизь твою кару!

Стоя у плетня, Лушка снизу вверх засматривала Тимофею в глаза и, обнимая его, целовала.

Половцев закончил молиться, встал с колен и, повернувшись спиной к иконе, шагнул, сжал кулак, и сквозь стиснутые зубы его прорвалось:

— Рубить! Рубить беспощадно!..

Он медленно поднял кверху руку, словно занося над кем-то шашку.

Крыльцо хаты Хопрова было все покрыто нападавшим снегом.

В просвете полуоткрытой двери виднелась кинутая наотмашь рука Хопрова, до половины занесенная пушистым снегом.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

ПОЭЗИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

I

На долю Галактиона Табидзе выпало редкое счастье — из всех грузинских поэтов он оказался единственным очевидцем Октябрьских дней в Москве и Петрограде, он один получил возможность «слушать революцию» у ее первоисточника, чтобы затем, говоря его же словами, — «возвестить родному краю правду о спасенье мира».

Литературные параллели обычно охватывают лишь отдельные грани больших и сложных явлений, но они иногда помогают найти верный ориентир для их постижения. Мы не случайно привели выше блоковское выражение — нельзя не заметить родственных черт между этими двумя глубоко самобытными поэтами. Оба они восприняли революцию как обновляющую стихию, оба они чутко прислушивались к подземным толчкам истории, а затем с радостью встретили ее вулканический взрыв. С поистине медицинской воодушевленностью смогли они сообщить своим стихам магнетический заряд новой эпохи, и их строки сразу же затрепетали в новой неожиданной ритмической пульсации, их образы прояснились, выкристаллизовались, отразили в своих гранях блеск революционных зарниц — огонь выстрелов и пламя ночных костров... Табидзе сближало с Блоком рано угаданное и осознанное внутреннее родство, которое было настолько глубоким, что простиралось и на «двоюродные» связи — Табидзе соприкасался с Блоком и там, где последний сходился с Маяковским. Обратимся к стихам:

Эпоха родилась и крепла,
В гражданских бурях крещена.
Из грома битв, огня и пепла
Пришла в смятенный мир она.

О боль последнего крушенья,
Мы не забыли ничего!
Мы помним дни уничтоженья,
Борьбу и веры торжество.

...Во прахе край опустошенный,
Но молоты звенят уже,
И слышен шаг революционный
На перепаханной меже.

(Пер. Г. Цагарели)

Стихи эти написаны позже «Возмездия» Блока, но в них ретроспективно воспроиз-

ведено как раз то восприятие революции, которое было характерно для поэтов, напрягавших свой слух, чтобы слушать ее музыку.

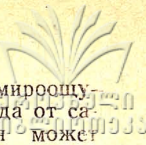
А какая точность деталей, — каждая из которых поражает своей поэтической конкретностью и вместе с тем вырастает до подлинно символического обобщения, — в поэме Г. Табидзе «Джон Рид»! Взрывается размеренная напевность стиха, даются все права гражданства новому языку.

Образы-символы, плывущие морем раскрепощенного, вырвавшегося из берегов белото стиха, соседствуют с казалось бы выхваченными из самой жизни острыми поэтическими деталями. Поэт видит «идущие на штурм дни» и «тявкающий пулемет», пулю, летящую остервенело из «золота вспышек» и «бессонные глаза города» да «этажи, лающие, как псы».

Мы верим в подлинность увиденной поэтом картины, верим, что «Москва гудит гигантским дубом, стряхивая пули, как желуди», что «ночь обжигает крапивой» и «присела сейчас у вокзала, раскуривая трубку». Верим в подлинность ставшей нам уже милой «чудовишной гиперболы»: стоит огромное прадедовское кресло, у которого полomanы три ножки, и, сидя в нем, еле держится старая Россия. Под ноги ей постлан ковер. Перед нею — треснувшая миска, полная каши. Морозно, а у несчастной нет ни подушки, ни одеяла, и снег заменяет ей пуховый матрац. Она промокла под ветром и снегом. На спине у нее котомка, в руках — чайник, веревка вместо пояса, а сбоку — котелок.

В этом трагическом в своей фантастичности описании мы узнаем черты «нищего оборвыша», знакомого нам по «150 000 000» Маяковского. Но вот и здесь, в стихах грузинского поэта, «нищий оборвыш» внезапно оборачивается гигантской фигурой восставшего исполина, и поэт, посланец далекой Грузии, подобно своему русскому собрату, не может удержаться, чтобы не пропеть ему гимн славы:

Правдолюбец —
Он прежде казался слабым
И жалким,
Но раздался грозный и неумолимый
Клич:
— Вставай!
И Россия пришла в движенье,



**Терпеливая, медленная Россия,
Грешная Русь,
Большая, еле живая,
Россия встает!..**

(Пер. Г. Цагарели)

Мы остановились на «Джоне Риде» Г. Табидзе, созданном в конце 20-х годов, для того, чтобы показать, как расширила революция не только внутренний мир поэта, содержание его творчества, но и как реформировала, обновила она его стих, его стиль, его поэтику. Трудно на первый взгляд угадать в этой поэме автора утонченно-символистического сборника «Артистические цветы», точно так же, как трудно было узнать в «Двенадцати» автора «Незнакомки» и «Стихов о Прекрасной Даме». Не следует понимать это так, будто не было преемственной связи между новыми и старыми произведениями Галактиона Табидзе. Связь была, и была очень глубокой, органичной, но десять дней, которые потрясли мир, потрясли и мир поэзии Галактиона Табидзе. Нельзя сказать, что поэтика «Джона Рида» стала типичной для поэта. Нет, он дальше пошел несколько иными путями, смог приспособить к новым темам свою чисто лирическую, романтическую поэтическую манеру, которая определялась не образом-деталью, не гиперболическим протеском и развернутой метафорой (как в «Джоне Риде»), а интонационной, ритмико-синтаксической, мелодической организацией поэтической фразы, предельно простой, разруженной от метафор, часто ораторски патетической, еще чаще лирически-задушевной или философски обобщающей, овеянной ветром или опаленной огнем (в зависимости от жанра!) революционной романтики.

Исходя из этой установки, уже в 20-х годах поэт ищет, а в 30-х утверждает и развивает поэтические приемы, которые позволили бы ему непосредственно декларировать, провозглашать свое отношение к новой эпохе, к революционной Грузии. Ведь лирика — это всегда декларация чувств, мыслей, настроений поэта. И если он чувствует сегодня не только сердцебиение любимой, но и дыхание времени, если он любит не только «артистическими цветами», но и гордом-садом, если он прислушивается не только к шелесту ночного ветерка, но и к музыке революции, он также обязан, — коль скоро он хочет оставаться подлинным лириком, — провозглашать, декларировать, выражать свои новые чувства и мысли в лирическом монологе. Так родились «Мировой оркестр», «Революционная Грузия», «Пресса», «Эпоха», «Пацифизм», «По дорогам Европы» — замечательные книги стихов, лирический герой которых не боится ни революционной патетики, ни ораторской поэмы, ни одописного восторга, ни прямых гражданственных деклараций, ибо этот пафос — искренен, поэза — органична, восторг исторгнут из груди, а декларация — не декларативна.

Такая позиция поэта, охватывающая не только область его идей, его мировоззрения,

но и область его чувств, воли, мироощущения, избавляет его раз и навсегда от самой страшной опасности, которая может грозить искусству, — от фальши, и позволяет ему вместе с тем безгранично расширить круг своих поэтических интересов, ввести в поэзию все, что его действительно интересует, волнуется, радует или огорчает — плачущую иву на могиле Мюссе и шум ротаценок, изумрудную гладь Рицы и гул тракторов, ханжеское лицемерие пацифиста и звуки «Интернационала». Очень разные поэты Табидзе и Маяковский, но их роднит завоеванное лирическим героем их поэзии право свободно, естественно, искренне, во весь голос говорить обо всем, чем он живет, говорить, не боясь вызвать недоверие учителя.

Была у Галактиона Табидзе и явная, громкая перекличка с Маяковским — в революционно-романтических стихах двадцатых годов с их космическими образами, гимнами разрушительной силе революционных бурь, потоков, шквалов, с патетической мечтой о мировой революции, о «мировом оркестре» бунтов и восстаний. Но уже к концу двадцатых и в начале тридцатых годов поэт начинает ставить перед собой несколько иные задачи. Ода, гимн, оратория, возгласы радости и восторга, призывы и приказы, слава героям и проклятия врагу — все эти императивные интонации начинают уступать место лирическим раздумьям, лирико-философскому осмыслению новой действительности новым человеком, раскрытию собственной души и души своего современника, друга, часто двойника. Воспоминание и раздумье сменяют непосредственную бурную реакцию на революционные события, восклицательные знаки сменяются многоточиями и вопросительными знаками. Рождается одна из самых удивительных книг Галактиона Табидзе — «Эпоха», названная поэтом сначала поэмой, а затем рассыпанная им же на множество коротких лирических стихотворений, составляющих тем не менее единое целое — великолепный, умный, страстный, трепетный лирический монолог, целый поток искреннейшего поэтического излияния, волны которого выливаются в отдельные восторги, а порою образуют целые гребни и цепи нагоняющих друг друга строф...

**Нет, не дано эпохам право
Быть запросто «на ты» с моей!
Ей суждена навеки слава
В громах и бурях новых дней.**

(Пер. Г. Цагарели)

Вот такое ощущение небывалой новизны наступившей революционной эпохи пронизывает весь этот цикл Галактиона Табидзе. Поэт продолжает слушать музыку революции. Но он слышит уже не только самые громкие звучанья, не только хоры и оркестры, но и тонкие, глубинные, «солирующие», что ли, звуки, вибрации душ и сердец. Он сам в свою очередь обращается не только

к массам и стихиям, но и к себе, к рядом стоящим, лицом к лицу с ним сблизившимся фигурам. Он задает вопросы и отвечает на них, он оглядывается назад, проверяет вчерашние мысли и чувства, он горд своим выбором, он рад своей чуткости, он готов поделиться своим духовным опытом, он жалеет слепых и глухих и готов им протянуть руку прежде чем махнуть безнадежно ею или дать слышу и глуху пощечину:

Ты носишь имя человека.
Зачем? — постигнуть не могу.
Ты замолчал в преддверья века,
Остался у него в долгу.
Когда б ты каялся, в подмоге
Не отказал бы мир опять,
Но ты уже свернул с дороги,
Тебе уж нечего жалеть.

(Пер. Г. Цагарели)

Право называться Человеком, долг перед временем, эпохой, выбор путей, которые выведут из тупиков интеллигентского захламления, цель и смысл жизни, жажда жизни, созидание жизни, участие в ее созидании, в революционном жизнетворчестве, единение с родиной, с народом — вот вопросы и проблемы, которые ставит поэт перед всеми — и перед собой, уже сделавшим правильный выбор, и перед теми, кто еще топчется на трудном распутье. О, это нелегкий путь, не тихий шаг, не мирный выход:

Есть горький яд существованья,
Гереполюющий фиал.
Прими, прими венок страданья,
Чтоб сладость муки ты познал.
И на пути твоём суровом
Стань, где лучам преграды нет,
И на венке твоём терновом,
Как солнце, воссияет свет.

(Пер. Г. Цагарели)

И нет единого средства, единого рецепта, некоей панацеи от всех духовных язв и недугов. Путь к свету, солнцу, радости сложен, многообразен. И если одному дано осилить его, лишь испив горькую чашу разочарований и приняв венок страдания, другому доступен иной выбор — более прямой и решительный, тот который был проверен и испытан самим поэтом:

Возьми сверкающую чашу
С ее живительным вином,
А что не красит юность нашу —
Разбей, топчи, кидай на слом!
Пускай туман в пути клубится,
Ты плесень совлекай с души,
Встречай сиянье зорь, как рыцарь,
И рухлядь идолов круши!

(Пер. Г. Цагарели)

Но как бы сложны и многообразны ни были пути к истине, правде, справедливости, утверждаемым и провозглашаемым эпохой, есть одна верная возможность отрезать себе эти пути — равнодушие, тишина и одиночество:

Страхнув старье листья, пустынный
В покое почивает мир.
Забыв о бурях, у камина
Ты бережешь тепло и мир.
Но не найдешь отдохновения,
Ревниво сохранив в тиши
Яд одинокого презренья
И заклеянный бред души.

(Пер. Г. Цагарели)

И есть одна верная возможность спасения, обновления, возрождения:

С углом привычным разлучает
Под гром восстаний грозный век.
В огне закалку обретает
Металл, а в бурях человек.
Мы новых рубежей достигли,
И ты не шлешь укор судьбе.
Как золото, что плавят в тигле,
Себя ты обретешь в борье.

(Пер. Г. Цагарели)

И тут у Галактиона Табидзе возникает настойчивый и «сквозной» для всей книги образ корабля, плывущего верным курсом, и рулевого — человека, поэта, борца, уверенно держащего штурвал:

Пойми, что не дается право
Погибнуть или свернуть с пути!
В страну, оваянную славой,
Я должен шхуну привести.
Широко разольются зори,
Мне возвещенные давно,
Пускай судьба со мною в споре —
Мне отступать не суждено.

(Пер. Г. Цагарели)

Часто этот образ связан с мотивом «аргонавтов новой эпохи», вступивших на путь смелых поисков новой правды, новой человечности, нового «золота песен».

В этом романтическом поэтическом образе читатель угадывает реальные черты недавних решающих событий в жизни поэта, когда море было не только метафорическим морем и вполне реальное судно под названием «Даланд» возвращало поэта на родину из революционной России. Все это и раньше было запечатлено в стихах.

Воспоминаний толпа вслед за мною
летела.

Ленин, Москва, Петроград, Кремль... И
в дрожанье и в стуже
«Даланд» волну рассекал и Черное море
кипело...

Взгляд затуманили первые слезы
разлуки.

(Пер. Н. Заболоцкого)

«Воспоминаний толпа» неотступна и ныне, спустя десять лет после тех незабываемых «десяти дней». Воспоминания положены в основу крупнейших и значительнейших стихотворений «Эпохи» — «Город под водой», «Однажды вечером, в Батуми»,

«Путник стоял, ожидая трамвая», «Эпоха
родилась и крепла», «Интернационал»...

Вот возникает образ путника, который,
прислонившись к столбу, ожидает трамвая...
И эта, казалось бы чисто импрессионистиче-
ская зарисовка оборачивается совершенно
иным ликом: перед взором путника прохо-
дят дни, события, вихри, сменяются времена
года, рождается новая эпоха. Та самая под-
земная музыка революции, гул которой ула-
вливался чутким слухом поэтов, становится
явной, вырвавшейся из недр, раскованной
победной симфонией революции. Ручейки
слились в неуправляемый поток, подмываю-
щий устой старого мира...

Путник стоял, ожидая трамвая.

Снег осыпал побелевшие плечи.

Семнадцатый год, в проводах запеая,

Снежным бураном шагал навстречу.

Скользили сквозь изморозь автомобили,

Трамваи в туман уплывали лениво,

Здания, люди в тумане были

Похожи на мутные негативы.

Но, как вода проходит сквозь невод,

Тайной дорогой под снежным настом

Сотни ручьев пробегали гневно —

Звонко журчащих, чистых и ясных.

Тут даже трудно уловить, когда и где на-
чинает мирная зарисовка обретать внутрен-
нюю символическую пульсацию и где зыб-
кие очертания зимнего пейзажа начинают
сливаться с образом Времени. Может быть,
там, где звонко журчащие ручьи, сливши-
еся в потоки, вдруг обрели гулко стучащее
сердце и торжествующий голос?

Там, под землей, их пути пролегли,

И, собираясь в одно, издаലെка

Стремилась друг к другу полями, лугами,

Стучали сердца сотен тысяч потоков.

И отступила зима роковая,

Глянуло солнце в небесную прорезь.

И прозвенел, сквозь снега прорываясь,

Из-под земли торжествующий голос.

И хлынули волны вдруг отовсюду.

С громом распахивая ворота,

Сметая преграды, ломая запруды,

Яростно двинулись внешние воды.

И вдруг образ смело сбрасывает с себя
пейзажное облачение, до конца обнажая
свой исторический, социальный, эпохальный
смысл:

Распались устои старого мира!

Не легкойтиные тихие крылья,

Не арфы эоловы и не зефиры, —

Вихри свободы все небо взрыли.

И тогда выяснилось, что убеленный сне-
гом путник был прислонен не к обычному
столбу, а к столбу, которому поистине бы-
ло суждено стать гранью двух разных эпох
истории, и ждал он не просто конца зи-
мы, а весны человечества, родившейся в те
вихревые дни, торжествующей ныне в посу-
тупи радостных, молодых и счастливых пе-
рвомайских колонн. И он, этот путник —

...стоявший и ждавший вагона,
Сутулясь под снегом, порхающим зыбко,
Тот путник, встречая эти колонны,
Сегодня вправе припомнить с улыбкой

Старого мира мертвое бремя,

Навек унесенное мощным разбегом,

И на вопрос: «Где же то время?»

Ответить: «Ушло с прошлогодним снегом».

(Пер. Б. Турганова)

В этой блистательной концовке контра-
пунктически сошлись и зарисовочные штри-
хи стихотворения, и символические блики ос-
новного его образа, и патетическая его сти-
хия, и неожиданно новая остроумная иро-
ническая интонация.

В знакомом нам уже отчасти стихотворе-
нии «Эпоха родилась и крепла» аналогич-
ный поэтический прием пейзажа, чреватого
политическим смыслом, играет уже ограни-
ченную роль, уступая место более откровен-
ной символике. Картина, знакомая нам по
«Путнику», постепенно сменяется образом
сначала предреволюционной, меньшевист-
ской, а затем восставшей, победившей и
строющейся революционной Грузии:

Зима, а после наводненья,

Подземный гул колеблет Крым,

Но засухи ожесточенье

Мы на земле грузинской зрим...

...Во прахе край опустошенный,

Но молоты звенят уже,

И слышен шаг революционный

На перепаханной меже...

..Еще шагать у стен не просто,

Еще лесами скрыта даль,

Но дом растет, стремится к звездам,

И труд с бетоном вяжет сталь...

Целый ряд образов этого стихотворения
уже содержит в себе потенцию конкретно-
реалистического описания и повествования.
Символическому зданию, которое описано
здесь и надделено множеством вполне кон-
кретных изобразительных признаков, уже
не так трудно стать настоящей постройкой
из бетона и стали, подличной новостройкой
в лесах. Этот шаг в своей дальнейшей по-
этической эволюции был сделан Галакти-
ном Табидзе в следующей книге стихов —
«Революционная Грузия». Ни одна его кни-
га не населена таким множеством конкрет-
ных деталей в изображении города и дере-
вни—индустриального города и колхозной
деревни, — как эта. В этом отношении «Ре-
волюционная Грузия» сильно отличается от
«Эпохи». Социально-философская лирика и
внутренний монолог поэта уступают здесь
место широкой панораме объективной дей-
ствительности, почти кинематографической
фиксации общих, средних и крупных планов
социалистического строительства. Чуть ли
не в первом же стихотворении этого боль-
шого цикла поэт сам обнажает кинемато-
графичность своего поэтического приема:

«Чем выше и краше возносится здание, чем крепче подложен кирпич к кирпичу, тем зорче становится зрение поэта, тем громче колотится сердце поэта в едином и дружном со стройкою ритме. И ничего, если строчек мельканье не каждому глазу будет заметно — скорость стиха все сильнее походит на кинематограф стремительных дней».

В «Революционной Грузии» возрождаются и некоторые элементы гиперболической и метафорической поэтики таких первых послереволюционных произведений поэта, как «Джон Рид», ораторская и одическая интонация «Мирового оркестра». Что касается собственно описательно-изобразительной конкретности стиха, то и она, в соответствии с общей природой романтического дара поэта, очень сильно тяготеет к символике и лирической декларации. Реалистическая же пластика, в значительной мере деформированная и разрушенная самим поэтом в первых своих революционных произведениях, будет полностью восстановлена в своих правах уже пораздо позже, когда Галактионом Табидзе будет разработан новый синтетический и гармонический поэтический стиль, вобравший и впитавший в себя все лучшие достижения поэта на всех прежних этапах его творческого развития.

Такова одна из важнейших вех пути Галактиона Табидзе — пути к сердцу миллионов читателей. Поэт, который воспел в своих стихах эфемерную Мери, мтацминдскую луну, чинары в снегу, гурийские горы, поэт, который первый принес в Грузию «весть о спасенье мира», об его революционном обновлении, поэт, муза которого много бродила по дорогам послевоенной Европы, остро подмечая трагические контрасты буржуазного мира, поэт, который выступал на Всемирном антифашистском конгрессе в Париже рядом с Анри Барбюсом, а в годы Отечественной войны заговорил с народом так же мужественно и вдохновенно, как он это сделал в годы революции, — такой поэт имел право сказать о своей песне:

Тебя обожаю, Отчизна, пою,
Ни с чьей не схожую песнь отдаю.
Сердце в огне, и огня не таю —
Каждый имеет любовь свою.

II

Влияние революции и социалистического обновления жизни на поэзию было столь же многообразным, сколь разнообразна была сама поэзия, испытывавшая это влияние. Если бы дело заключалось в одном политическом или даже философском приятии идей революции и социализма — немедленный и буйный расцвет новой советской грузинской поэзии был бы обеспечен, рождение искусства социалистического реализма было бы делом сравнительно легким. Но вся сложность процесса становления новой поэзии заключалась в том, что каждый поэт, несущий в себе уже вполне сложившийся и завершённый поэтический мир,

должен был принять семена нового на эту свою старую почву. И обновляющая революционная сила новой действительности была такова, что многие поэты, казалось, уже завершившие основной цикл своего поэтического развития, вдруг неожиданно разорвали круг привычных эстетических воззрений и поэтических приемов, широко распахнули двери своей поэзии «новым вихрям» или сами шагнули смело вперед — «в мир, открытый настежь бешенству ветров».

Как мы знаем, под влиянием революционных событий и новой советской действительности уже в 20-х годах отошли от своих бывших декадентских позиций грузинские символисты, члены поэтической группировки «Голубые роги» — Т. Табидзе, П. Яшвили, Н. Мицишвили, В. Гаприндашвили, Г. Леонидзе, К. Надирадзе. Все наносное и неорганичное для их поэзии, все, взятое напрокат у западных декадентских школ, было сдано в архив. Мы отлично знаем, что «голубороговцы», даже в пору наибольшего увлечения декадентским дурманом явно не ущемались в прокрустовом ложе эстетского модернизма. Слишком сильна была в них патриотическая, гуманистическая и демократическая завеска, сознательно или подсознательно питавшая их. Но тем не менее предстоял сложный и мучительный процесс преодоления духовного кризиса, язва декадентства, надо было вырваться из душной кунсткамеры индивидуализма и одурманивающей оранжереи модернизма на воздух, «разреженный грозью трех революций», встать на твердую почву подлинно народного и гуманистического искусства. Мы знаем, что не сразу исчезли с эстетических скрижалей «голубороговцев» заветы и лозунги модернизма; соотношение между эстетикой, политикой и реальной жизнью оказывалось порой весьма сложным и противоречивым, но решающий выбор был сделан сразу: по эту сторону баррикад. Вместе с народом, вместе с новой Грузией, пролагающей путь к будущему. Вместе с революцией. Ведь Тициан Табидзе уже в феврале 1921 года написал замечательную статью «Поэзия и революция», одним смелым охватом выделив в истории мировой поэзии сокровеннейшую и характернейшую ее черту — великая поэзия всегда была или предтечей революции или ее детищем, порождением ее стихии. И вовсе не случайно в этой статье выделение и прославление имени Владимира Маяковского — титана революционной поэзии. Эта политическая декларация Тициана Табидзе станет понятной, если мы не сочтем случайностью хотя бы такое его стихотворение, как «Петербург», под которым стоит знаменательная дата: «Кутаиси, в ночь на 25 октября 1917 г.» Вспомним:

Жаркий бой. Жестокой схватки звуки.
Мокрый пар шинелей мокрых. Мгла.
Медный Всадник опускает руки,
Мойка лижет мертвые тела.

Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предreshен.
Ночь запомнит только имя «Ленин»
И забудет прочее, как сон.

(Пер. Б. Пастернака)

А разве случайным было «Открытое письмо», с которым Тициан Табидзе обратился к Ованесу Туманяну в разгар кровавой армяно-грузинской войны, развязанной дашнаками и меньшевиками, в котором грузинский поэт, по его же позднейшей характеристике, «заклеймил македонский метод решения национального вопроса меньшевиками и дашнаками и призывал к интернациональному единению и дружбе?»

Рядом с манифестом Тициана Табидзе «Поэзия и революция» стоит и блестящий поэтический экспромт Паоло Яшвили «Новой Грузии», произнесенный им в конце февраля 1921 года и являющийся одним из первых и самых ярких откликов в грузинской поэзии на победу в Грузии Советской власти, на революционные события, открывшие его родине ворота к будущему:

О Грузия! Ты рабства не страшилась,
В чужом господстве не нуждалась, нет!
Лишь небеса оказывали милость,
Одев тебя свечением планет.
Свободной ты останешься навеки!
Иранец, римлянин или абрек—
Ты отражала штурмы и набеги,
Так порази ж и обветшалый век!
Коней своих, винтовки, патронташи
Скорей готовь на справедливый бой:
Мы увенчаем будущее наше
Железным братством с красною Москвой!

(Пер. И. Сельвинского)

Характерно, что Тициан Табидзе и Паоло Яшвили, еще задолго до этого увлеченные Маяковским, становятся отныне самыми рьяными пропагандистами его творчества.

Лирика Паоло Яшвили на этом новом для нее этапе обогащается ораторски-публицистической интонацией, органичной для воодушевляющего его гражданского пафоса.

Уже в 1922 году он может четко формулировать в стихах свое новое понимание великого и единственного назначения поэзии:

...Признаемся себе, что мы мудрили зря,
Все проще в сотни раз на этом сложном
свете,

И если ты не слеп, то, честно говоря,
Что лучше может быть, чем поэзия?
Сванетии? 1933

...Сегодня меч в ножнах, окончились бои.
И мне грядущее еще виднее стало...
В нем воля и покой, — все помыслы мои,
Там полководец — труд; там труд — всему
начало.

(Пер. Р. Сефа)

Да, «час расставанья» с прежними эстетическими иллюзиями не был легок. Многие из сделанного «рассыпалось в прах», но вершины поэтических открытий были впереди — за Февральским перевалом великого хребта Революции. И то, что талантливые грузинские поэты, умеющие «смотреть правде в глаза» и «быть честными перед собой», достигли этих вершин, преодолев все трудности мужественного восхождения и не избрав более легкого «парашютного» варианта покорения вершин, — все это отнюдь не изъян их духовной биографии, а признак их искренности и честности, свидетельство подлинной веры в правильность избранного пути, залог внутренней свободы и богатства их творчества.

И буквально на глазах у читателя ширилось, крепло, обогащалось это творчество, нигде не поступаясь своей прямоотой, открытостью, чуткостью и отзывчивостью. Поэтому и читатель всегда знал цену и радости, которая жаркой волной обдавала его в поэзии Тициана Табидзе и Паоло Яшвили, и печали, которая в те трудные и бурные времена не могла не омрачить порою душу даже такого «великого жизнелюбца», каким был Паоло Яшвили.

Первое большое горе постигло поэта вместе со всей Советской страной, вместе со всем человечеством. Но это было и его личное горе, столько нитей души и сердца связывало его с человеком, который —

...Однажды вышел из шалаша,
Человек, чей призыв как пламя,
И от слева его — огонь мятежа,
Старый мир прогнивший, ломая, круша,
Взвился над городами и над полями.

(Пер. Э. Ананишвили)

Окончание следует

Мэлор СТУРУА

Б л у д н ы й с ы н

В 1859 году выборы в гамбургский бюргершафт (парламент) совпали со столетней годовщиной со дня рождения Фридриха Шиллера. Дата была круглая и отмечалась, что называется, с размахом. Либералы неистовствовали. Они соорудили безвкусную шестиметровую гипсовую статую поэта и поклонялись ей как божеству. Они вынудили магистрат иллюминировать все здания города. Даже биржу. И биржу иллюминировали.

Лишь какой-то захудалый сапожник посмел восстать против неистовавших либералов. Он отказался расцветить свою мастерскую и ограничился тем, что выставил в витрине одну-единственную свечу, сопроводив ее небольшим плакатом. На плакате было написано:

Одно сердце, отданное родине,
Лучше пропасти сожженного света.

Сапожник был прав. Иллюминированная биржа и Шиллер. Пожалуй, трудно придумать что-либо, столь далеко отстоящее друг от друга и в то же время столь характерное для духа этого ганзейского города. В Гамбурге носители высоких материй всегда числились на положении блудных сынов или пасынков. Биржа, даже иллюминированная, не могла заменить Парнас.

История Гамбурга, говорят на Эльбе, это история хороших и плохих балансов. Вся прочая история от лукавого. Когда в 1803 году территория, на которой находился замечательный гамбургский собор, была объявлена, после долгих судебных препирательств, городской собственностью, гамбуржцы незамедлительно раскассировали этот неповторимый памятник. Раскассировали с толком. Кирпичи, камни, плиты, балки были пущены на строительство портовых и складских сооружений.

Летописец Гамбурга Пауль Т. Гофман, отдавая дань пруссапению деловых людей города, вкратце касается их духовной жизни. Он пишет: «Духовный, литературный и философский склад характера проявлялся лишь у тех торговцев, которых финансовая деятельность полностью не поглощала. И вот, например, до начала рабочего дня собирались на берегу Эльбы Фогт, Худтвалькер и Зи-

бекинд и читали стихи Клопштока». Это не сатира, не ирония. Летописец Гофман писал со всей серьезностью, которой требует его жанр.

Когда я рассказал об этом одному западногерманскому журналисту, обедавшему вместе со мной в знаменитом ресторане «Якоб» (угощали виднейшие гамбургские банкиры), он улыбнулся, обвел глазами хозяев и, нагнувшись ко мне, прошептал:

— Не знаю, как во времена Клопштока, но я не могу представить себе когонибудь из этих господ, читающими на берегу Эльбы стихи Бенна или Брехта. Скорее Эльба потечет вспять.

Уж не это ли имел в виду Генрих Гейне, когда в своей «Германии» он вложил в уста богини, покровительницы Гамбурга, следующие слова:

Но Клопштока бюст на комодe
теперь,

Он получил отставку.
Давно уж сделала я из него
Для чепчиков подставку!

Богиня, покровительница Гамбурга, была столь же практичной, как жители этого города. Она не выбросила Клопштока так вот просто, а нашла ему применение, как гамбуржцы — камням раскассированного собора.

Получил отставку не один Клопшток. Горечь жизни на золотом дне испытал и Лессинг. Сколько радужных надежд теснилось в его голове, когда он весной 1767 года ехал на перекладных из Берлина в Гамбург! Отцы города пригласили его в качестве штатного драматурга при гамбургском Национальном театре. И Готтхольд Эфраим уже строил, трясясь в карете, воздушные замки. Зачем ему место королевского библиотекаря при прусском дворе. Его манят другие пути!

И вот эти другие пути привели Лессинга в одно дождливое апрельское утро к сараю, что возле птичьего рынка в Гамбурге. Здесь помещался Национальный театр. Внешний вид театра не смутил создателя «Гамбургской драматургии». Его смутило другое — торгаши лезли в храм искусства, следя на каж-

1 Здесь и далее переводы В. Левика.

дом шагу. Он не мог стерпеть этого и дал публично понять сие тем, кому следует. Обидеть богатых людей? Такого в Гамбурге никому, даже Лессингу, не прощают. Национальный театр стал чахнуть. Это не судоходство, проживем без него, говорили мстительные и отвергнутые меценаты, приспособившие в свое время Клопштока под подставку для чепчиков супругов.

Национальный театр, тот самый, что у птичьего рынка, прогорел. И во всем Гамбурге не нашлось не единого человека, который протянул бы автору «Эмили Галотти» руку помощи. «Жизнь в возлюбленном Гамбурге» стала для него невозможной и невыносимой. Он снова погрузился в почтовую карету. На этот раз путь лежал из Гамбурга в Вольфенбюттель, где герцог Брауншвейгский раздобыл для него жалкую синекуру.

Ехал Готтхольд Эфраим Лессинг на перекладных. Позади остался прогоревший сарай у птичьего рынка. Впереди не было даже воздушных замков.

Но подлинным блудным сыном Гамбурга был Генрих Гейне. Он искренне любил и столь же искренне ненавидел этот город. Последний платил ему только ненавистью. Платил сполна, по всем счетам. А Гейне предъявил их массу. Острым скальпелем своей иронии он проник в сущность торговца-города, обнажив скрытые пружины, движущие и повелевающие им.

Седьмого апреля 1823 года Гейне писал Иммануэлю Вольвилло: «Меня радует, что ты начинаешь находить удовольствие в объятиях прелестной Гаммонии!... Мне эта красавица опротивела. Меня не обманет ее шитое золотом платье, я знаю, что она носит грязную сорочку на желтом теле и, тая в любовных взорах, с возгласом «Заплатишь ассигнациями, говядина!» склоняется на грудь того, кто больше даст.

Однако бывают там два сорта говядины: сырая и вареная. Последняя хуже всего, потому что она лишена соков и силы: это — говядина просвещенная... Если когда-нибудь ты прочитаешь мои мемуары и найдешь в них описание толпы гамбургских обывателей, из которых я кое-кого люблю, большую часть ненавижу и еще большую — презираю, ты поймешь меня лучше».

В том же письме Гейне говорил: «Но, может быть, я несправедлив к доброму городу Гамбургу; настроение, которое мною владело, когда я там некоторое время жил, не способствовало тому, чтобы я стал беспристрастным судьей». Некоторые буржуазные биографы Гейне и исследователи его творчества ищут в этих словах разгадку ненависти поэта к «цирку житейской суеты» — Гам-

бургу. Они пишут о его несчастной любви к двум кузинам, которые предпочли бедному поэту богатых женихов. Они пишут о его неудачных попытках стать банкиром и торговцем-москательщиком. (Слава аллаху, что он ими не стал!) И из этих «неудач» конструируют отношение Гейне к Гамбургу, «красивой колыбели моих страданий». Они вспоминают даже о том, что кое-кто в Гамбурге позволял себе проезжаться насчет внебрачного рождения поэта. (Смешно и мелко. В связи с этим скажу, что только в столетний юбилей со дня рождения Гейне в мемориальной доске на городской Эспланаде удосужились уточнить дату рождения поэта и заменить год 1799-й на 1797-й).

Написанное поэтом о Гамбурге полностью опровергает такую, с позволения сказать, трактовку источников его чувств к ганзейскому городу. Да, ведь если бы так оно и было, Гамбург давно простил бы Гейне, давно принял бы этого блудного сына под свой кров. Но Гейне смотрел глубже, глубже мелких сердечек своих кузин. Недаром Салтыков-Щедрин называл его «сочувственнейшим» себе из всех иностранных поэтов. И недаром Щедрин не почитал его на Рейне.

Еще юношей, впервые приехав в Гамбург, Гейне идет на могилу Клопштока и ищет там вдохновения от людей, которые «сплошь торгоаши» и не имеют «ни малейшей склонности к поэзии». В «Лукских водах» Гиацинт Гирш, глазки которого увлажняются «при воспоминании о маленькой мачехе-родине», говорит: «Ах, теперь я в Италии, где растут лимоны и апельсины, но когда я вижу, как растут лимоны и апельсины, я вспоминаю каменную улицу в Гамбурге, где они разложены так привольно на переполненных лотках и можно так спокойно наслаждаться ими, и не надо карабкаться в гору, с опасностью для жизни...»

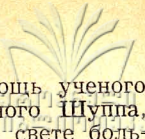
Но уже в этом можно было различить поступь сатиры, которая шла на смену юмору.

В «Из мемуаров господина фон Шнабельвопского» все еще присутствуют гастрономические сравнения. Но, во-первых, это уже не апельсины и лимоны, а, во-вторых, Гиацинта Гирша смеяет сам Генрих Гейне.

«Город Гамбург, — пишет он, — хороший город: в нем все только солидные дома. Здесь правит не мерзкий Макбет, здесь правит Банко. Дух Банко¹ — банковский дух — правит повсюду в

¹ Непереводимая игра слов: Банко — родоначальник династии королей в шекспировском «Макбете». Банко — денежная расчетная единица в гамбургской торговле до 1873 года.

1 Название Гамбурга по-латыни.



этом маленьком вольном государстве, видимым главой которого является высокий и премудрый сенат. В самом деле, это — вольное государство, и здесь человек находит наибольшую политическую свободу. Граждане вольны здесь делать все, что им вздумается, а высокий и премудрый сенат тоже волен делать, что ему вздумается; каждый здесь — вольный господин своих поступков. Это — республика. Если бы Лафайету не посчастливилось найти Луи-Фклиппа, он, конечно, рекомендовал бы своим французам гамбургских сенаторов и старейшин. Гамбург, лучшая из республик. Нравы в нем английские, а пища ангельская... Гамбуржцы — хорошие люди и едят хорошо. В вопросах религии, политики и науки их мнения очень разноречивы, но насчет кушаний господствует великолепнейшее единодушие».

Гейне потешается над адвокатами, которые вертят и переворачивают законы, пока на их долю не перепадет жирный кусок; над богословами, препирающимися о значении тайной вечери, но едиными насчет полдневной трапезы; над военными, у которых вполне спартанский образ мыслей, но которые и слышать не хотят о черной похлебке; над врачами, несогласными в методах лечения национальной гамбургской болезни — расстройств желудка — и согласными в высокой оценке копченого мяса. «Гамбург — родина последнего, то есть копченого мяса, и гордится им, как Майнц гордится своим Иоганном Фаустом, а Эйслебен своим Лютером. Но что значат книгопечатание и реформации по сравнению с копченым мясом? Были ли первые полезны или вредны, об этом спорят в Германии две партии; но даже самые ревностные из наших иезуитов согласны с тем, что копченое мясо является добрым, спасительным для человека изобретением».

Да, это уже не итальянские апельсины и лимоны!

Гамбургский филистер был буквально исхлестан сатирическим бичом Гейне. Он едва успевал поворачиваться. А поэт клеймил маленьких людей, живущих в городе, построенном Карлом Великим, и не завидующих этому человеку, погребенному в Ахене. Он издевался над тем, что их жевательный аппарат чрезмерно развит, что их рассудительным, холодным глазам вполне подстать низкие лбы и небрежно отвисшие красные щеки. Шляпы этих людей словно прибиты к голове гвоздями, а руки всегда в карманах брюк, как у человека, который сейчас спросит: сколько с меня причитается?

И гамбургский филистер получал с Гейне все сполна, все, чего он заслужил и что ему причиталось.

Поэт призывал на помощь ученого казуиста и пастыря духовного Шуппа, который говаривал, что «на свете больше дураков, чем людей». Он иронически замечал, что Шуппиус не превеличивал в своей статистике, ибо жил в Гамбурге. «Я живу там же, — писал Гейне в «Идеи. Книга Ла Гран», — и, могу сказать, испытываю изрядное удовольствие при мысли, что все эти дураки, которых я здесь вижу, пригодны для моих произведений, все это чистый гонорар, наличные деньги. Господь милостив ко мне, дураки уродились в этом году особенно удачно, и я, как хороший хозяин, потребляю только немногих, а самых доходных отбираю и сохраняю впрок».

Гейне навек обесславил гамбургского филистера. Гамбургский филистер навек обессмертил Гейне. То был самый ценный капитал, который он извлек из него.

Мало найдется германских городов, которых бы обошла стороной злая ирония Гейне. Среди пострадавших — Берлин, Геттинген, Мюнхен и многие другие. Но никому из них не доставалось так, как Гамбургу, к достопримечательностям которого поэт относил ратушу, украшенную изображениями банкиров, высеченных из камня, со скипетром и державой в руках; биржу, на которую сыны Гаммонии собираются ежедневно, как некогда римляне на форуме; старинную центральную кассу, ресторан «Биржа», ресторан «Вахус» и, наконец, на последнем месте городской театр.

Особенно допекал Гейне тех, кто заседал в ратуше. И на это у него были свои причины. Прусская монархия, преследовавшая поэта с настойчивостью королевской ищейки и запретившая ему вступать на немецкую землю, по крайней мере не ничилась своим либерализмом и свободолобием. Она выступала с открытым забралом. Банкиры же, отмеченные скипетром и державой, желали еще сверх того, чтобы их чело овали ветры свобод. Вот эта-то последняя капля и переполняла чашу терпения поэта, и он опрокидывал ее громокопящим кубком на денежные мешки:

Для дел высоких и благих
Я кровь отдать по капле рад,
Но страшно задыхаться здесь.
В мирке, где торгаши царят!

С утра до ночи пьют и жрут, —
Крововье счастье брюху впрок!
Как дырка в кружке для сирот,
Их благонравный дух широк!

Их труд — в карманах руки греть,
Сигары модные курить.
Спокойно переварят все —
Но их-то как переварить!

Хоть на торги со всех сторон
Привозят пряности сюда,
От их душонок рыбьих тут
Смердит тухлятиной всегда.

Нет, лучше мерзостный порок,
Разбой, насилие, грабеж,
Чем счетоводная мораль
И добродетель сытых рож!

Эти сытые рожки до сих пор хранят следы от сатирических пощечин Гейне. И те, которые уже застыли, окаменев в бронзе и мраморе, и те, которые свято блюдут традиции своих предков, завещавших им вместе с банковскими счетами ненависть к великому поэту. Но вспомним Некрасова, он слышал в хуле врагов знак наивысшего одобрения. Передаваемая по наследству ненависть к Гейне — одно из наиболее ярких свидетельств неувядаемости его гения и в то же время — неизжитости пороков, которые он бичевал.

В самом деле, разве мог гамбургский сенат времен Гитлера позволить свободным ганзейцам читать «Воспоминание о днях террора в Кревинкеле?»

Мы, бургомистр и наш сенат,
Блюды отечески свой град,
Всем верным классам населенья
Сим издаем постановление...

Кто будет громко рассуждать,
Того на месте расстрелять.
Кто будет в мимике замечен,
Тот будет также изувечен.

Доверьтесь смело посему
Вы магистрату своему,
Который мудро правит вами.
А вы помалкивайте сами.

(Перевод Ю. Тынянова)

Немецкий народ дорого заплатил за то, что доверился нацизму, Гитлеру. Дорого заплатил и Гамбург. Когда весной этого года я был в Гамбурге, председатель Немецкого клуба печати господин Эрих Лют, веселый и жизнерадостный человек раблезианского склада, не дурак выпить и поговорить, безгранично влюбленный в свой город, рассказывал мне, что даже во времена гитлеризма Гамбург был оазисом свободы в пустыне террора.

Но вот как выглядела жизнь в этом оазисе свободы, по словам того же Люта:

— Прежде чем пропустить хоть одно слово меж зубов, мы оглядывались налево и направо и даже назад. Мы подзревали шпика в каждом незнакомце, шедшем рядом с нами по улице, сидевшем рядом с нами в трамвае или в ресторане. И когда носители власти спрашивали нас, хотим ли мы стать «хоро-

шими наци», мы отвечали «да», ибо в противном случае...

Лют вспоминает, как дорого обошлись одному человеку следующие слова: «Быть хорошим человеком — наивысший идеал. Быть хорошим немцем — зависит от случайности рождения. Но быть хорошим наци — это превышает мои силы и возможности!» Несчастный не учел возможностью гестапо.

С печальной улыбкой повествует Лют о том, как жители гамбургского оазиса боролись против гитлеризма.

— Помню, собралось нас несколько друзей. Повесили на стену портрет Гитлера и стали расстреливать его из духового ружья. Мы попадали в портрет, но не в человека. Нет ничего тяжелее того, когда ты протестант и не имеешь возможности протестовать. Тебе остается кусать до крови губы, чтобы не дать шевельнуться языку, который может довести до камеры пыток. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким оплыванным, вываленным в грязь, как однажды, когда смотрел в маленьком провинциальном кинотеатрике «Еврея Зюсса». На экране и в партере бушевал шторм расовой ненависти. Но не раздалось ни одного голоса протеста. Лишь какая-то женщина разразилась слезами. И чудом было уже то, что ее не линчевали на месте.

Лют рассказывает о том, как в Гамбурге, уже после войны, в начале пятидесятых годов зародилось такое движение: жители покупали саженцы оливковых деревьев и посылали их в Израиль. Было собрано десять тысяч деревьев.

«Пусть на месте злодеяний прошлого зазеленеет роща примирения», — говорит Лют.

Генрих Гейне, где ты! Эти трагикомические ситуации словно просятся на твое перо. Этот «оазис свободы», где нужно держать язык за зубами и подозревать в каждом незнакомце филера. Этот портрет Гитлера, расстреливаемый из духового ружья. Это «чудо», когда не линчуют женщину, плачущую на «Еврее Зюссе». Это движение за посылку саженцев оливковых деревьев в землю обетованную!

И невольно вспоминаешь «Воспоминание о Гаммонии», написанное более ста лет назад:

Бодро шествует вперед
В чинных парах дом сирот;
Сюртучки на всех атласны,
Ручки пухлы, щеки красны,
О, прелестные сиротки!

Все растрогано вокруг,
Рвутся к кружке сотни рук,
В знак отцовского вниманья
Льются щедрые даянья,
О, прелестные сиротки!

Бюргер, вынув золотой,
Воздевает, как святой,
Очи к небу — шаг нелишний —
На него ль глядит всевышний?
О, прелестные сиротки!

За столом они сидят,
Кашку сладкую едят,
Фрукты, кексы, торты, пышки,
Зубками хрустят, как мышки, —
О, прелестные сиротки!

К сожаленью, за окном
Есть другой сиротский дом,
Где живется крайне гнусно,
Где свой век проводят грустно —
Миллионы, как сиротки!

В платьях там единства нет,
Лишь для избранных обед,
И попарно там не ходят.
Скорбно в одиночку бродят
Миллионы, как сиротки.

О, как напоминает этот лицемерный потемкинский сиротский дом «оазис свободы» на берегах Альстера! Как напоминают все эти фрукты, кексы, торты и пышки, посыпанные сахарной пудрой, оливковые деревья, посыпанные пеплом печей Освенцима и Майданека, Треблинки и Орадура! Как напоминает этот бюргер, опускающий золотой в кружку и возводящий очи к небу, современных жрецов буржуазной демократии, навесивших на старый сиротский дом новые вывески «народного капитализма», «всеобщего благоденствия», «партнерства рабочего и предпринимателя», «народных акций» и прочей белиберды!

Гейне не довелось увидеть всего этого. Но в гениальной зимней сказке «Германия» он словно авансом воздвиг нерукотворный памятник архитекторам сиротского дома с тюремными решетками на окнах, где задыхаются миллионы. Это о них писал он, что:

И, право, немцам неплохо жилось,
Хоть времена были круты.
Поверь, в немецкой тюрьме человек
Не голодал ни минуты.

Но Гейне любил другую Германию, другой Гамбург, которых он и хотел разбудить щелканьем своего бича от смежавших их глаза, сковывавших их члены пруссачества и меттерниховщины, от бюргерского самодовольства и ползучего эмпиризма рантье. Это им хотел он доказать, что мысль человеческая шире лобов геттингенских профессоров, а свобода — выше Кельнского собора.

Он любил Гамбург, но не тот, кото-

рый посылал в свою колонию — Куксгафен — зимой шерстяные одеяла, а летом лимонад, и у которого он стриг шерсть и высасывал все жизненные соки. Нет, он любил Гамбург — молодого портового силача и мечтательного юнгу. Он любил Гамбург, когда золотые лучи солнца играли в его гавани на просмоленных бортах кораблей, когда слышалось протяжное «гой-го!» матросов. В такие часы он сравнивал Гамбург с юношей, который впервые пускается по свету, впервые дерзает выйти в открытое море жизни. «На всех его помыслах красуются еще пестрые флаги веры в себя. Надувает паруса его желаний: гой-го!»

Гой-го! Он любил гамбургское книгопечатание, которое под носом у цензуры распространяло творения «Молодой Германии». Он любил гамбургских красоток, хотя часто и язвил на их счет, говоря, что амурам приходится целить им не в сердце, а в желудок.

И когда пожар обрушился на Гамбург, он прислал из Парижа в «Аугсбургскую газету» письмо, которое мне кажется лучшим из всего, что когда-либо было написано об этом городе или будет еще написано. Столько было в нем боли и любви, отчаяния и надежды.

Его дядюшка, банкир Соломон Гейне спас тогда гамбургскую биржу от полного краха. Он потребовал, чтобы учетная ставка не превышала четырех процентов, и изъявил готовность ссужать деньги на этих условиях. За ним последовали другие. Доверие к бирже было восстановлено.

Племянник банкира, поэт Генрих Гейне спас нечто более важное, чем биржа. Он восстановил доверие Гамбурга к самому себе, его веру в собственные силы.

Пожар уничтожал все без разбора. Гейне не мог оплакивать пепелища по этому же принципу. Он оплакивал дом, в котором впервые познал запретный плод поцелуя; оплакивал печатный двор, куда сдавал свои «Путевые картины», оплакивал приветливый погребок, где часто любил сиживать. Но многого ему было не жаль:

И где же ратуша, сенат —
Тупого мешанства твердыня?
Погибли! Напрасно надеялись все,

Что пламя не тронет святыни...
И старая биржа сгорела дотла,
А там, как всем известно,
Веками работали наши отцы
Насколько можно честно.

Было и такое, о чем он сожалел, что оно не сгорело.

Душа золотая города — банк,
И книги, куда внесли мы

Стоимость каждого из горожан,
Хвала творцу, невредимы.

В назидание этим горожанам поэт
говорил:

Отстройте снова свои дома,
Утрите нос и губы.
Заведите лучшие законы себе,
Покрепче пожарные трубы.

К сожалению, не ко всему прислушались гамбургцы. Отстроив новые дома, заведя покрепче пожарные трубы и даже утерев нос и губы, они ничего не предприняли по части законов.

Вот почему так и не состоялось окончательное примирение между Гамбургом и Гейне. Последнюю попытку в этом направлении поэт описывает в «Германии». Он рассказывает о том, как встретил на Дрейбане (улица, населенная проститутками, вроде нынешней Герберштрассе) высокогрудое диво, сверхчеловеческий зад которого отличал создание высшей породы. Так оно и оказалось. Перед поэтом стояла Гаммония — меч и защита Гамбурга.

От имени города богиня предложила поэту отпущение грехов, впрочем не без некоторых предварительных условий:

Ты только должен ради меня
Исправить свои манеры,
В былые дни моих сынов
Ты оскорблял без меры.

Надеюсь, ты бросил свое озорство,
Стал вежливей немного,
Быть может, даже к дуракам
Относишься менее строго.

Поэт как будто согласился принять индульгенцию из рук богини Гаммонии на этих условиях. Взамен она отдала ему сердце. И начался торжественный ход. Шел сенат во главе с бургомистром, шел дипломатический корпус, шли равнины и пасторы, чтобы приветствовать возвращение блудного сына.

Но ему предстояло пройти еще одно испытание — чистилище цензуры, — чтобы окончательно поселиться в райских кущах.

...Но ах! — и Гофман, твой цензор идет
Он с ножницами, проклятый!

И ножницы уже звенят,
Он ринулся озверело
И вырезал лучшее место твое —
Кусок живого тела.

Так было в зимней сказке. В еще более суровой действительности было иначе. Блудный сын отказался от руки богини Гаммонии, а заодно и от отпущения грехов. Он продолжал клеймить

рыбьи душонки, смердящие тухлятиной, их счетоводную мораль и добродетельсытых рож. И не давал никаких послаблений дуракам.

А те, не имея возможности насладиться его покаянием и полакомиться куском живого тела, решили отыгаться на память великого поэта, руководствуясь старым правилом: труп врага всегда хорошо пахнет.

В этом смысле глубоко символична история памятников поэту. Знаменитая мраморная статуя старого и большого Гейне, изваянная Хассельрином, была сооружена по приказу австрийской императрицы Елизаветы на Корфу. Когда Вильгельм II приобрел Ахиллеон, он распорядился убрать статую. Наследники издателя Гейне — Кампе привезли ее в Гамбург. Сенат отказался приобрести статую. И они выставили ее на участке земли, находившемся в частном владении, — на Баркхофе.

После первой мировой войны статую неоднократно повреждали хулиганствующие банды. Владельцы статуи сочли за благо заколотить ее досками. Это заставило Макса Брауера, обербургомистра Альтоны, переселить ее в один из павильонов парка Доннер, который закрылся на ночь. И, наконец, подобно своему оригиналу, статуя вынуждена была эмигрировать во Францию, в Тулон.

Другая статуя, считавшаяся официальной и изображавшая молодого Гейне времен 1830 года, была отлита из бронзы Ледерером. Она стояла в городском парке до 1933 года. С приходом фашистов к власти ее убрали и переплавили на что-то.

Сам Гейне незадолго до смерти острит, что в Гамбурге ему уже поставлен памятник из камня — роскошный дом, который выстроил его издатель Кампе на деньги, вырученные от продажи «Книги песен». На этом доме впоследствии был укреплен барельеф поэта, который чудом удалось спасти от нацистов. В 1946 году его вновь установили, но уже в доме, где когда-то жила Шарлотта Эмбден — любимая сестра поэта.

Ко дню столетия со дня смерти Гейне (1956 год) этот барельеф — единственное напоминание о великом поэте в свободном ганзейском городе. Как сказал на торжествах в Немецком театре культурсенатор, то есть министр изящных искусств Гамбурга, доктор Ганс Вирман-Ратшен. «в наше время не до памятников». Правда, он присовокупил, что желал бы видеть «нового Гейне, который помог бы перепахать в культурном отношении эту плодоносную, но жесткую гамбургскую почву».

Призыв доктора — культурсенатора то есть министра изящных искусств Гамбурга, остался гласом вопиющего в пустыне банковских контор. Юбилейный



угар прошел, а ненависть осталась единственным памятником поэту. Плодоносную, но жесткую почву Гамбурга пашут иные люди иными плугами, люди, считающие, что они живут в иное время, когда не до статуй, бюстов, барельефов и прочих сооружений, из которых нельзя чеканить звонкую монету и которые могут помешать возросшему уличному движению, не говоря уже о парковке автомашин.

Генриху Гейне, обожавшему всяческую жизнь, ненавидевшему всяческую мертвечину, было наплевать и на бронзы многолюдья, и на мраморную слизь. «Я никогда не придавал большой цены славе поэта, — писал он. — Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества».

Да, его мудрость чудака и лиризм поэта оборачивались храбростью солдата, равно как и его шутовские бубенчики и гусиное перо — разящим мечом. Блудный сын так и не смог обрести отечества. Ему пришлось довольствоваться бесмертием.

Много воды утекло с тех пор в Эльбе и на Альстере, да и вообще на всем земном шаре. Много изменилось. Много изменилось и в Гамбурге. На его плодо-

носной, но жесткой почве произросли такие лирики, как Лилиенкрон и Райнер Мариа Рильке. Густаву Грюндгенсу уже не приходилось трястись на перекладных и ютиться в сарае, что у птичьего рынка, как Готтхольду Эфраиму Лессингу. Бездомному сапожнику уже не надо было выставлять в витрине своей мастерской одинокую свечу, чтобы отвлечь от чела Фридриха Шиллера свет иллюминированной в его честь биржи. Раскол Германии привел к тому, что интеллектуальная жизнь его западной части разделилась между Гамбургом и Мюнхеном. Туда перебазировались крупнейшие газетные и книжные издательства — Шпрингер, Буцериус, Ровольт. Так что в некоторой степени доктор-культурсенатор, то есть министр изящных искусств Гамбурга, может быть доволен — жесткая почва его города как-то плодоносит.

Но недаром сказано: чем больше перемен, тем больше все остается по-старому. Старые боги царят в Гамбурге, в старым богам поклоняются новые люди. По-старому отсутствует новый памятник Гейне. И лишь одного нет как прежде — самого блудного сына. И некому вонзить острие своей сатиры под левый сосок денежного мешка.

Наши интервью

БУДЕТ ИЗДАНО В 1965

Каковы планы издательства «Литература да хеловнеба» на 1965 год, что нового, интересного оно выпустит?

Р. А. Маргиани — директор издательства, познакомил нас с его планами на этот год.

Наряду с произведениями хорошо известных грузинских писателей и поэтов, таких, как Л. Киачели, К. Лордкипанидзе, И. Абашидзе, Х. Бериулава, будут изданы сборники более молодого поколения писателей и поэтов: А. Сулакаури, М. Элиозншвили, О. Чиладзе, Т. Чантурия, Дж. Чарквиани, Г. Гегечкори и других.

Большое место в работе издательства будет занимать выпуск книг по теории литературы и исследования по грузинской литературе.

Здесь войдут произведения Н. Татишвили «Литературные очерки», Г. Цицишвили «Жизнь и творчество Чола Ломтатидзе», Ш. Дзидзигури «Статьи о литературном языке», Р. Барамидзе «Древнегрузинская художественная проза» и другие.

Любители искусства с интересом познакомятся с книгами А. Хорава «Грузинский революционный спектакль «Анзор», Д. Антадзе «Дни недалекого прошлого», А. Цулукидзе «Проблемы современной музыки», Ш. Ахсабадзе «Мастерство актера» и др.

Примечательно, что в новом, 1965 году значительно возрастет количество книг, переведенных на грузинский язык с русского, эстонского, армянского... Произведения Ф. Достоевского, К. Фелина и других станут достоянием грузинского читателя.

Этот год знаменателен и тем, что грузинский чита-

тель еще шире познакомится с переводами произведений зарубежных писателей. «Юность короля Генриха IV» Генриха Манна, «Персиес и Сигизмунда» Сервантеса, «Пармская обитель» Стендаля, «Рассказы» Марк Твена, «Пассажирика» З. Посмыш — вот неполный перечень произведений зарубежных писателей, издаваемых на грузинском языке.

В 1967 году исполнится 50 лет Великой Октябрьской революции. Издательство уже сейчас готовится к этой знаменательной дате. Группа авторов работает над сборниками «Ингури — большая река» и «Передовые люди деревни», которые включают новые стихи, рассказы и очерки грузинских писателей. Сборник очерков Г. Чиковани «Великие дни» посвящен большим изменениям, происшедшим в жизни нашего народа.

ПРОХОДЧИКИ ПОДЗЕМНЫХ ТРАСС

Из записной книжки журналиста

Строительство первой очереди тбилисского метро близится к завершению. Уже не годы, а месяцы отделяют нас от волнующего торжества вступления его в строй.

А пока — все еще будни стройки, которые в недалеком будущем войдут в историю. Скупые информационные сообщения в газетах о ходе строительства, об успехах метростроевских бригад, рассказы об отличившихся станут строками летописи. Самыми ценными и дорогими документами будут страницы дневников метростроевцев, написанные впопыхах, неровно, после утомительной смены, когда берешься за перо, преодолевая сон и усталость, сгоряча поверяешь бумаге последние события, самые сокровенные раздумья.

Возможно, многое из того, что связано со строительством метро в Тбилиси, станет не только для наших современников, но и для наших потомков так же дорого и свято, как для многих поколений замечательная эпопея создания московского метрополитена.

Теперь писатели и журналисты — свидетели тех событий, бережно извлекают из своей памяти все, что связано с той порой, стараясь воспроизвести их скрупулезно, до мельчайших деталей.

Читая сейчас взволнованные строчки записных книжек журналиста Юрия Жукова («Люди тридцатых годов»), его репортаж о пуске первой линии московского метро, осознаешь со всей отчетливостью, «...как родился у нас тот непонятный многим иностранцам «культ советского метро»...

* * *

Человеку непосвященному название научного труда — «Инъекционное давление, как нагрузка на тоннельную отделку» — ничего не скажет; содержание его тоже очень сложное — это, в основном, формулы, чертежи и разъяснения к ним. Ученый, который ознакомился с этой работой, сказал, что для специали-

стов она представляет большую ценность, что в нее вложен богатый опыт строительства тоннелей и подземных дорог.

Скоро автор этой диссертационной работы Абесалом Иосифович Курашвили будет защищать ее, как принято говорить в данном случае, на соискание ученой степени.

...Это был обычный вечерний обход, который часто заканчивается далеко за полночь.

— Иду на объект, — объяснил мне Курашвили, начальник тоннельного отряда Тбилметростроя. — Переодевайтесь, спустимся под землю вместе. Я покажу вам, как строят метро.

Ночная смена особенно ответственная и хотя все продумано, все предусмотрено заранее, порою минутная слабость (возможно, человек недоспал днем и потом нечаянно вздремнул в забое), может привести к тяжелым последствиям. Много лет назад был такой случай; на всю жизнь он остался для всех уроком и больше никогда не повторился...

И все же каждую ночь Абесалом Иосифович спускается под землю. Бессмысленно выражать ему сочувствие по поводу того, что он уже много лет — желай ему или не желай спокойной ночи — не знает что такое «спокойная ночь». Он только смутится: — Ерунда, привычка!

Неуклюжий брезентовый костюм, высокие резиновые сапоги скрывают его крепкую коренастую фигуру. Каска закрывает лоб по самые глаза — живые, умные, проницательные.

С лязгом защелкивается кабина лифта и несется в головокружительную бездну.

Ноги тяжело шлепают по воде, над головой мокрые бетонные своды; лампочки, вправленные в них, кажутся тусклыми после ярких неоновых огней проспекта Руставели.

Но все равно ощущаешь какую-то взволнованную торжественность. Все это видится уже одетым в туф и мрамор,

ясно представляются мчащиеся в тоннелях стройные составы.

Трасса, которую мы сейчас «одолеваем», кажется мне бесконечной. Пытаться разговаривать здесь бессмысленно. Шумит вода, грохочет растревоженная бурями порода, перекрывая человеческие голоса. Только по движению губ можно догадаться, о чем говорит собеседник. Но в тоннеле все понимают друг друга и свободно объясняются между собой.

Мы наблюдаем, как работает бригада Тамаза Вашадзе, приобретающая в последнее время большую популярность благодаря своим производственным успехам и яркой, хотя и очень показательной для нашего времени, биографией бригадира.

Успев стать в свои 26 лет героем многих очерков, Тамаз уже лучше тех, кто берет у него интервью, знает, о чем ему следует рассказать представителям прессы в первую очередь, на чем заострить внимание...

Работала бригада его, действительно, здорово. Четко, слаженно, без нервозности и суеты. Красиво работала.

Я долго, зачарованно разглядывала мужественные, сосредоточенные, будто с плаката, лица, которые ничем не выдавали ни огромного напряжения воли, ни усталости.

В этих условиях труд, когда зачастую захлестывает вода, когда постоянно грохочут взрывы и под руками рушится грунт, требует от людей повседневного подвига. И я вдруг испытала зависть, почувствовала себя обделенной, потому что не живу постоянно на таком же накале всех физических и духовных сил.

Правда, встретить я тогда ребят из бригады Тамаза Вашадзе на улице, я бы их не узнала. Ничем внешне не приметные, они сразу потерялись бы в толпе. Но сейчас, после многих встреч и более короткого знакомства с ними, я убедилась, что каждый из них — ярко выраженная индивидуальность.

О чем тогда долго говорили между собой Тамаз и Абесалом Иосифович, я слышать не могла. Но проявление огромного уважения бригадира к Абесалому Иосифовичу, я бы даже сказала, любовного отношения, сказывалось во всем...

* * *

В каждом деле есть свои фанатики. Есть люди, навеки «заболевшие» морем, для многих жизненной стихией стали небо, горы, Арктика, наука. Я вспоминаю, как однажды замечательный альпинист и человек, трагически погибший в горах, Джумбер Медзмариашвили говорил мне: «Я живу только там,

наверху, в горах. Только там, когда один на один встречаешься с трудностями, с лишениями и преодолеваешь их, я чувствую себя полноценным человеком. Там проверяются человеческие чувства, мужество, выдержка, там люди очищаются. Там — другой мир, другой воздух. Сидя здесь, ничего не поймешь. Все человеческие слабости, волнения, заботы кажутся оттуда во-о-от такими малюсенькими (Джумбер отмерил кончик пальца). Там все виднее, все становится на свои места».

Пожалуй, под этими словами могли бы подписаться все, одержимые какой-либо одной большой страстью. Много таких и среди метростроителей. Для них строительство подземной дороги — самое увлекательное, интересное и замечательное дело на земле. Так думает и Абесалом Иосифович.

Когда родители отправляли сына, окончившего школу, из кахетинской деревни Шилда в Тбилиси, они твердо верили, что Абесалом будет врачом. Лучшего будущего для него они не представляли, это было их заветным желанием.

Тетка Абесаломы, у которой он оставился в Тбилиси, оказалась еще решительнее. Когда племянник высказал желание стать инженером, она сама взяла его аттестат зрелости и отнесла в медицинский институт. Надо знать теткин характер, чтобы понять, чего стоило решение юноши поступить по-своему.

После того, как экзамены были сданы все же в Институт железнодорожного транспорта на факультет «Мосты и тоннели», домой полетела радостная телеграмма: «Экзамены сдал, поступил». И когда мать приехала в Тбилиси, чтобы повидаться с сыном перед началом учебного года, он торжественно взял ее за руку и повел в институт. Пусть сама прочтет в списках принятых его фамилию.

— Сынок, но ведь это не медицинский институт, — испуганно сказала мать, прочитав у входа вывеску.

— Объясни мне, пожалуйста, мама, чем хороший инженер хуже врача?

— Ну что ж, будь тогда хорошим инженером... — Мать только тяжело вздохнула. — Все же мне хочется сделать тебе что-нибудь приятное в честь того, что ты стал студентом.

То были первые послевоенные месяцы 45-го года, жилось трудно, и Абесалом знал, что в кошельке матери не больше трех рублей...

— Купи мне персики, — попросил он. Три персика — неплохая награда для тех лет, о большем тогда трудно было мечтать.

...В феврале 1951 года Абесалом Курашвили демобилизовался. К тому времени у него за плечами только и было настоящей работы, что практика в студенческие годы на строительстве московского метро, а по окончании института — несколько месяцев на бакинском метрострое и армия.

С первых же дней строительства метро в Тбилиси с ним связана жизнь Абесалом Курашвили. Первая его должность на Метрострое — начальник смены. «Мы тогда начинали проходить вертикальные стволы в районе 26 комиссаров».

Создавалась первая шахта Метростроя.

— Вся работа тогда велась вручную, на голом энтузиазме. Первые десять-двенадцать метров, — вспоминает Курашвили, — мы прошли вообще без отбойных молотков, не работали компрессоры, не было водонепроницаемых спецовок. Это было начало — трудное и счастливое.

В тот период на строительство метро пришло много амнистированных.

В смену Абесалом Курашвили попал один из них — Федянин.

— Великолепный из него получился проходчик, — вспоминает Абесалом Иосифович. Его бригада ставила рекорд за рекордом, дисциплина была железной. Бригадира побаивались, но уважали. Ко мне он питал особые чувства. Нанялся вроде добровольным телохранителем. Не знаю даже, как получалось, что я всегда находился в поле его зрения, всегда в трудную минуту чувствовал его крепкую руку. Как будто он задался целью оберегать меня от всех трудностей и обид. Даже не пойму, как это произошло.

Зная Абесалом Иосифовича, мне думается, что сначала Федянин сам не раз опирался на его крепкую руку, чувствовал его поддержку, и добрые чувства его были ответными.

* * *

Наверху у стройконторы постоянно жгли костер. Нужно было сушить мокрую одежду. Сначала простаивали в ней в забое столько часов, сколько можно было терпеть холод. А когда застывали руки, ноги, и казалось, даже сердце, поднимались наверх, переодевались в другую — запасную одежду, а промокшую отжимали, так что вокруг сразу образовывались мутные лужи, и сушили.

Однажды, когда Абесалом переодевался у костра, во двор шахты вошел заместитель начальника Метростроя В. Д. Гоциридзе. Абесалом смутился, пред-

став перед начальством в спортивном наряде.

— Хорошо выглядишь, ничего не скажешь, — обронил Гоциридзе. Потом вернулся и сказал:

— Скоро здесь все будет иначе.

И действительно. Вскоре появились спецовки, большинство процессов было механизировано.

Но с водой бороться было тяжело. Такого обилия грунтовых вод не знали ни московские, ни ленинградские, ни киевские метростроевцы. «Это наша специфика», — говорит Абесалом Иосифович.

Достаточно было однажды машинисту насоса не выйти на работу, и целая шахта была под угрозой затопления. «Тяжелый был случай! Простояли почти сутки по горло в воде. Но ее откачали, и все обошлось».

А когда испытывали клетку лифта, Абесалом Иосифович пошел на самый рискованный способ ее проверки. Стал сверху над клетку и спустился в шахту. Более грубого нарушения правил техники безопасности трудно представить. Но, к счастью, все обошлось благополучно.

«Какое это было мальчишество! Тогда мне казалось, что я не вправе поступить иначе, боялся, что пошатнется мой авторитет — я был тогда, в 1952 году, избран депутатом Городского Совета и секретарем комсомольской организации шахты. Ну и нагорело мне за это по заслугам. А по-настоящему я не сразу осознал свою ошибку. Попробовал бы сейчас кто-нибудь сделать нечто подобное, я наказал бы гораздо строже».

В 1953 году строительство метро на некоторое время приостановили.

Строители метро разбегались по разным прозаическим объектам.

Абесалом Иосифович работал на строительстве подземных коллекторов под мостом имени Бараташвили, под Метехским мостом строил тоннель Ботанического сада, коллекторы жилых массивов в Сабуртало, подземную геофизическую лабораторию.

А потом он руководил выполнением отдельных работ по сооружению крупнейшей научной высококожной геофизической станции на Цхра-Цкаро.

Когда работы были почти закончены, приехал заказчик — старый ученый, и изъявил желание пройти по всей трассе, чтобы проверить качество работ. Вышли с утра, благополучно добрались до конца трассы, а когда тронулись в обратный путь, уже начало темнеть. Большое сердце ученого не справилось с высотой, с разреженным воздухом — ему стало плохо, не было сил идти. За помощью не сбегаешь — одиннадцать километров тяжелого пути в мороз и гололедицу отделяло их от пристанища строителей. Да и оставить человека в таком состоянии немислимо. Был единственный выход —

взвалить его на плечи и идти, идти до первых огоньков в ночи, до первой возможности хотя бы уложить в постель измученного болью, обессиленного человека.

Было тяжело, было жутко — часто пропадала уверенность в том, что человек еще дышит, что сердце не отказало совсем, порою казалось, что оставляют последние силы.

Но все окончилось благополучно, так как обеспокоенные их долгим отсутствием строители почувствовали недоброе и вышли навстречу...

Потом было еще много трудных дней. Погиб друг, молодой инженер, с которым работали плечом к плечу. Погиб под землей из-за собственной небрежности, нарушив элементарные правила техники безопасности.

И уже снова на Метрострое — счастливые доли секунды спасли его с целой группой людей от обвала.

Но та страшная ночь так и осталась, пожалуй, самым суровым испытанием.

В 1956 году начался новый этап строительства тбилисского метро. В его шахтах снова — ветераны-метростроевцы, делавшие вместе с метро первыми шаги своей трудовой биографии — Ираклий Мачавариани, Натела Кошквадзе, Отар Кикнадзе, Ламара Бекая, Карло Джапаридзе, Гиви Кипиани, Автандил Соселия, Бено Харатишвили, Нодар Саладзе, один из замечательных специалистов-проходчиков на метро Г. И. Оболадзе (сейчас он депутат Верховного Совета СССР). Возглавил строительство метро опытный и талантливый инженер — В. Д. Гоциридзе. Начальником шахты стал Абесалом Курашвили.

Много раз за эти годы менялась его должность, росли объекты, увеличивались масштабы работ. Главный инженер строймонтажного поезда стал главным инженером строительства крупного объекта, а затем — начальником строительства этого объекта.

Работы — бездна, бездна нерешенных проблем, тревог, забот. Дела берут за горло, не дают перевести дыхание. Но это уже не просто работа — рабочий день за днем, который начинается в любое время суток и неизвестно когда кончается, беспрекывное регулирование всяческих дел, которые ежедневно рождаются в суровых метростроевских буднях. Работа обретает новый смысл, каждый ее этап подвергается строгому обдумыванию, исследованию отдельных процессов. У Абесаломы Курашвили возникает своя тема, которая захватывает, требует мучительных раздумий и поисков к ее разрешению. Изучается вся существующая по этому вопросу литература, конструируются специальные приборы, которыми на разных объектах измеряется давление на бетонные обделки

тоннелей. Из итогов исследования рождаются открытия.

Параллельно сдаются экзамены кандидатский минимум, итоги исследовательских работ оформляются в научный труд.

Замечательная примета нашего времени, нашей эпохи. Встало на ноги поколение с раскрепощенным мышлением; уже редко кого удивляет возможность работать, бездумно отбарабанив положенные часы. И если кто не отдает дань науке, то все равно стремится глубоко осмыслить то, что он делает, размышлять над сложнейшими жизненными проблемами.

А в метро идет новое и новое пополнение, идет новое поколение, и на нем печать времени, в которое оно росло и воспитывалось.

К примеру, ребята из бригады Тамаза Вашадзе. Все они в разное время и разными путями пришли в метро.

Самый большой трудовой стаж у Георгия Кокоева — он уже 6 лет в шахте — сильный, опытный проходчик. На его поддержку всегда можно рассчитывать — покажет, научит, поможет.

У Анзора Камладзе работа на метрострое совпала с порой студенчества — он учится на четвертом курсе Политехнического института, и четыре года из дня в день спускается в шахту. Тихий, спокойный, выдержанный.

Петре Давадзе пришел на метро три года назад. Его трудовая биография началась на селе; окончил восьмилетку, пошел в трактористы. Потом — годы службы в армии. Метро возникло случайно. Кроме сестры и брата у Петре никого из близких нет. Сестра живет с семьей в Тбилиси. Хотелось быть вместе. Прочел объявление о наборе рабочих на строительство метро и пошел. Сейчас все представления о будущем неизменно связаны с метро — других планов нет. Петре Давадзе, работая на Метрострое, поступил в техникум. «В наше время уже нельзя быть просто рабочим, без образования».

Тамаз Вашадзе на Метрострое новичок. Но он пришел сюда с уже богатой событиями трудовой биографией, вполне оформившимся рабочим, с определенным профилем — проходчик тоннеля. Тамаз — чиатурский. Он гордится тем, что возникновение крупнейшего промышленного центра связано с фамилией Вашадзе — крестьянская семья его далеких предков первая поселилась на чиатурской земле. Он гордится тем, что отец его известный и популярный в Чиатура человек — ведущий артист Чиатурского драматического театра, удостоенный высокого звания народного артиста Грузинской ССР.

Он гордится тем, что с 14 лет кровно связан с рабочим классом, и большей

чести, чем считается настоящим рабочим, он для себя не представляет.

Совсем мальчишкой пришел он на одну из крупных чиатурскихстроек, отдавая ей все свои ребячьи силы, только бы не отрывали его от этого дела, от любимых людей. И сколько ни убеждали Тамаза, что ему еще не положено находиться на стройке, что он малолетний и его забота — сидеть за партой и решать примеры, — все равно с каждым рассветом на стройке появлялась худенькая фигурка подростка; он помогал откатывать вагоны в рудник.

Часто на работу его провожал отец. Дорога шла через лес, и до восхода солнца идти по ней мальчику было страшно. Он крепко прижимал к телу спрятанный под рубашкой кинжал — старинную фамильную ценность, найденную в отцовских вещах.

После тяжелого рабочего дня Тамаз садился за парту в вечерней школе. По окончании ее никто не мог упрекнуть его в том, что работа и учеба оказались ему не по плечу.

Потом — заочное отделение института. Без отрыва от работы.

А в Чиатура шла особо важная стройка, и Тамаз Вашадзе участвовал в ней уже как бригадир. Сроки сдачи были головокружительные, работать приходилось с восьми утра до двенадцати ночи, иногда — сутки напролет. Объект был сдан на два месяца раньше срока.

Тогда о бригаде Тамаза Вашадзе много говорили и писали. Ей первой в Чиатура было присвоено звание бригады коммунистического труда. А Тамазу было очень приятно приумножить славу «Вашадзевской династии».

Тамаза посылают делегатом на XIV съезд комсомола, он участвует во Всесоюзном совещании молодых строителей в Москве. Общественная работа тесно переплетается со всеми производственными делами, становится второй жизнью.

Работа на метро и похожа на то, что приходилось делать в Чиатура, и немало в ней нового. Многому пришлось учиться, набираться опыта. Все шли Тамазу навстречу, видели, как настойчиво он стремится преодолеть трудности. И вскоре он снова обрел уверенность в своих силах, обрел славу настоящего проходчика.

Однажды он сказал Абесалому Иосифовичу:

— Разрешите мне собрать бригаду и мы покажем класс!

Георгий Кокоев, Анзор Камладзе, Петре Давадзе — к ним Тамаз присмотрелся, во многом перенял их опыт, почувствовал, что вместе сработаются. И не ошибся. Только пятый член бригады — Александр Оболадзе — на строительстве метро новичок, и необычный.

Совсем недавно Сулико, — как его

называют товарищи по бригаде, пережил события, о которых сейчас вспоминать неприятно. Был суд чести, на котором товарищи сурово судили целую группу бездельников. Александр Оболадзе был среди обвиняемых.

— Я возьму Александра Оболадзе в нашу бригаду, — сказал тогда на суде Тамаз Вашадзе. — Думаю, что настоящий труд поможет ему пересмотреть всю его жизнь, стать на правильный путь.

Решение было смелое и очень ответственное.

Я не хочу торопиться с выводами о коренной ломке в характере Оболадзе, о его окончательном перевоспитании. Это будет поспешным. На Мегрострое он всего несколько месяцев. Но я приведу некоторые странички из его дневника.

...Вчера еще мир, который я знал, казался бесконечно огромным и вдруг за одну ночь он стал тесным, неспособным вместить массу новых впечатлений.

Впервые в жизни спускаюсь в шахту. Тяжелая металлическая клеть, вздрогнув, неуверенно поплыла вверх и вдруг, как бы передумав, бросилась вниз, в темноту. Рядом, тесно прижавшись друг к другу, молча стоят ребята в серых брезентовых спецовках. Курят. Чувствуется, что спуск их несколько не занимает. Просто им надо попасть на рабочее место, ну а клеть, головокружительная скорость спуска, настоящие прививы, что они этого вовсе не замечают. До забоя далеко — 2 500 метров, две тысячи пятьсот метров, вырубленных в земле и одетых в бетон. Первое впечатление: грандиозность, фантастическая грандиозность сооружения. Причем, употребляя эти сравнения, я совершенно не рискую впасть в преувеличение.

Забой — это передовая.

Бетонные своды резко обрисовываются, упираясь в мокрые тяжелые стены. С одной стороны каменная стена, с другой люди. Идет бой упорный, полный напряжения за каждый сантиметр. Столкновение сильного с сильным, упрямого с упрямым. В нашей бригаде пять человек, пятеро внешне и духовно разных людей, объединенных одной целью — победить сильную и упрямую Природу.

Я очень волновался, как примут меня ребята в свою бригаду. Воображение рисовало всевозможные вопросы, которые могут у них возникнуть, и я мысленно на них уже отвечал.

Крепкие рабочие руки, протянутые для пожатия, как молчаливое предложение дружбы, — вот и все знакомство. Из эта лаконичность, мужская сдержанность, несравненно богаче самых ярких, самых громких слов...

Работа в забое, как и всякий целенаправленный процесс, имеет свой ритм, соединяющий в единое целое действия людей. Мучительно стараюсь уловить биение этого невидимого сердца. Временами кажется, что

я близок к этому, но тут же выясняется, что я лишь вношу диссонанс. Ребята работают как бы не спеша, но это вовсе не медлительность, а я ношусь от одного к другому, горя желанием предложить помощь. Но в большинстве случаев с отчаянием убеждаюсь, что опоздал или здесь вполне обошлись без меня.

Сброшена каска, брезентовая куртка, майка насквозь пропитана потом. Пот стекает по лицу, ест глаза. Больше всего боюсь окрика, упрека в очевидной беспомощности. Произойди это, я, наверное, заревел бы, как в детстве, от обиды. Смена кончилась. Две тысячи пятьсот метров в обратном направлении. Ребята шагают легко, весело, будто у них за плечами и не было этих семи часов тяжелого труда.

Я плетусь, еле волооча ноги, чертовски усталый, проклиная свою беспомощность.

Тамаз останавливается и, дожидая, пока я догоню остальных, начинает рассказывать о своем первом рабочем дне. Очень похоже на пережитое мной. Становится легче.

...Странно, что я пишу обо всем этом так спокойно. Экзамен на звание проходчика явно провалил. Но я помню молчание ребят, помню рассказ Тамаза... Они верят мне, и я благодарен им за это. Хорошие, настоящие ребята, и я добьюсь права быть равным с ними. Как хочется сказать все это им завтра, но я смолчу. Они поймут меня.

Третья смена кончается рано утром, в пять часов. Из шахты уходишь усталый, голодный, как волк, спать хочется страшно. Не замечаешь ничего, спешишь снять промокающие сапоги, брюки, куртку и — под горячий душ. Но усталость и голод сразу исчезают, когда выходишь в город. Город еще спит, улицы, обычно такие многолюдные, полные шума и жизни, неожиданно пусты, и лишь одинокие дворники старательно скребут политый асфальт.

Лучи солнца, еще не поднявшегося из-за гор, купаются в редких облаках, плывущих по бледной синеве неба.

Я часто задаю себе вопрос, почему меня сейчас волнуют вещи, на которые я раньше не обращал внимания. Почему усталый и минуту назад еще мечтавший только об одном, — поскорее добраться до постели, — я завороченно смотрел на солнце, осторожно выкатывающееся из-за гор и вдруг брызнувшее таким богатством красок, что невольно хочется раствориться в этом волшебном видении.

...Сейчас произойдет взрыв. Взрывник, присев на корточки, думает о чем-то очень своем.

Так, наверное, Архимед сидел перед ванной с водой, философствуя о таинственной связи между массой и объемом тела.

А может быть, он просто считает секунды. Ребята тесно уселись на бурую от ржавчины трубу, молча курят.

...Опять перебор с порожняком. Электровоз где-то сошел с рельс, в результате Тамаз вконец переругался с начальником смены, а мы целый час, прижавшись друг к другу, чтоб не замерзнуть, просидели без дела.

Поговорили о футболе, кто-то вспомнил о московском метро. Тамаз с восхищением говорит о нем, о людях, строивших его.

Говорят, в Париже метро намного хуже московского. С Тамазом можно говорить обо всем — о миланской опере «Ла Скала», о Швейцарских Альпах; он обо всем знает и говорит с одинаковым увлечением и о «Паяцах», и о Венеции, и сразу поражает своим восторгом окружающих.

...Вода течет отовсюду. Насосы, тархатя и протруженно кашляя, качают и качают ее. К концу смены мы мокрые с ног до головы. Не помогают ни резиновые сапоги, ни брезентовый комбинезон.

...Насос перевернулся!!! Наверное, он просто устал и прилег отдохнуть.

Шахтеры гордятся своей профессией. Их труд не легок. Но видеть в них только людей с сильными руками и упорным характером было бы заблуждением. Человечность, глубокая внутренняя культура — вот что прежде всего характеризует настоящего рабочего, и сочетание этих качеств рождает уверенность, что цель, к которой они стремятся, будет достигнута.

Мне бы хотелось быть рядом с ними.

...Переход к коммунистическому принципу распределения не может быть осуществлен без воспитания нового коммунистического отношения к труду. Необходимо, чтоб у людей выработалась внутренняя привычка трудиться по способностям...

* * *

Слова не новые, но хорошо, что их повторяет Александр Оболодзе! Он, безусловно, не обделен способностями. Сейчас у него уже определены планы на будущее — он будет сдавать экзамены на факультет журналистики. Но это не помешает ему быть с метростроителями до конца; он постарается (хочется верить, что все будет так, как он задумал, — ведь в руках у него богатейший материал, золотоносная жила для литератора) воздать им по заслугам — правдиво и честно рассказать об их труде, об их жизни. Они это заслужили...

Георгий НАТРОШВИЛИ

Бессмертие героев

С нетерпением и внутренним волнением начинаешь читать новую книгу Реваза Джапаридзе «Марухские белые ночи», выпущенную недавно издательством «Литература да хеловнеба».

Трудно сказать, что именно с первых же страниц возбуждает этот интерес — возможно, само название Марух, которое хотя и вошло в наш каждодневный обиход всего пару десятков лет назад, но уже успело вобрать в себя нечто потрясающее душу, героическое и трагическое, как скажем Аспиндза и Крданиси; а может быть, и скупые строки, поставленные эпиграфом и столь лаконично передающие святое чувство любви к Родине: «Путник, передай спартамцам, что мы лежим здесь, послушные их законам».

Но так или иначе, с этого дня, где бы мы ни услышали слово Марух, в ушах непременно возникает звук частой перестрелки и последний вздох умирающего.

Все это влечет за собой нетерпение — терзающее сердце и в то же время врачующее его. А терзает оно потому, что мы наперед знаем, свидетелями каких страшных событий сделает нас эта книга. Снова перед нашими глазами встанут бессонные белые ночи, когда на вершинах или склонах перевала в горячей схватке скрестили мечи жизнь и смерть. Врачует же оно потому, что внушает гордость мужественной смертью наших братьев, которые, подобно спартамцам, обращаются к нам из марухской могилы: «Путник, передай людям, что мы лежим здесь, послушные их законам».

Словом, марухские события сами по себе имеют трагическое звучание, и здесь уже тема определяет многое.

К тому же надо сказать, что рассказ ведет замечательный художник, большой мастер современной грузинской прозы Реваз Джапаридзе, который в полную силу своего таланта нарисовал нам самые трудные дни и часы героев Марухского перевала.

Читатель, знакомый с рассказами Р. Джапаридзе и его многоплановым ро-

маном «Вдова солдата», не мог не заметить, что его строго реалистическая манера письма имеет завидное свойство — спокойствие и сдержанность. О чем бы ни писал Р. Джапаридзе, он редко выдает свою взволнованность.

Хочу напомнить читателям, что это спокойствие веков свойственно опытным мастерам, а в наш бурный XX век стало еще более современным и нужным.

Книга «Марухские белые ночи» написана беспристрастной и, казалось бы, спокойной рукой. Иногда даже создается впечатление, что писатель излишне сдержан, строг и эпичен. Ни один восклицание не вырвется у него, ни одно восклицание. Но за этой суровостью таится столько волнений, ощущаемых меж строк, что эмоциональный эффект становится куда более сильным и заразительным.

Именно так написана от первой до последней страницы эта документальная повесть.

Первые же строки вводят нас в мир тишины, почти идиллии.

Раннее августовское утро. Двадцатидвухлетний парень купается в море. То волна покрывает его, то он взмывает на ее высокий гребень. Небо высокое и синее. И вдруг он слышит:

— Товарищ лейтенант, вас вызывает комбат.

— Мог с берега позвать. А где он сам?

— Вон сидит на камне.

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю.

Они выходят на берег. Здесь их ждет Василь Рухадзе. Парень узнает от него дурную новость — немцы бомбили Сухуми, к перевалу идут альпийские дивизии врага.

Так знакомимся мы с бойцами третьего батальона 808-го полка — Схиртладзе, Мшвениерадзе, Рухадзе...

Портреты набросаны несколькими штрихами, словно углем сделанными штрихами, однако они замечательны и броски, раскрывают всю жизнь этих людей, да-

ют возможность заглянуть к ним в душу, рисуют их простыми и искренними, будят в нас тайную мысль, что величие и красота человека именно в простоте. Здесь как нельзя лучше видна жизнестойкость тех корней, которыми человек связан с родной землей, с близкими. Со всей страной.

В повести есть место, которое служит как бы ключом к пониманию ее героев, к раскрытию их духовного мира.

Батальон ехал к перевалу. Машины то поднимались вверх, и казалось, что они вот-вот упрутся в небо, то спускались вниз, на самое дно глубокого ущелья. Неожиданно возник крутой поворот. «Здесь скользко, может, людям пешком пройти», — тревожно спросил у шофера Рухадзе. «Как-нибудь проедем», — ответил тот. Правое колесо головной машины повисло в воздухе, вернее, над бездонной пропастью. Потное, измазанное лицо шофера стало бледным. Он зло переключил скорость, машина дрогнула, и кабина наполнилась едким, спирающим дыхание отработанным газом. «Останови!» — крикнул Рухадзе и невольно ухватился за руль. Но шофер притворился глухим, еще раз переключил скорость, и машина проскочила опасное место. Все вздохнули с облегчением. Опасный поворот миновали, и сейчас между шофером и Рухадзе происходит такой диалог:

«— Упрямый ты, — сказал Рухадзе.

— Знакомое местечко. На днях я здесь чуть не скovyрнулся. Послушай я вас, так бы и застряли.

— Почему?

— В таких случаях самое главное решительность. Если не рискнешь на горячее сердце, то все пропало, останешься посреди дороги. Наверное, и в бою так же. Вы воевали, товарищ комбат?

— А ты как думаешь?

— И были ранены?

— Я еще не был на фронте.

— О-о! — почему-то удивился шофер. — А разве так можно?

— Что?

— Чтоб не фронтовик и...»

Казалось бы, все это проще простого. Ну какой шофер не знает, что остановить в такое время машину равносильно смерти — машина потеряет инерцию и соскользнет в пропасть. Однако писателю важно на этом примере показать не технические навыки и опыт водителя, а тот рубеж, который лежит между храбрецом и трусом. Это риск на горячее сердце: если упустить решающую минуту, все пропало, уже ничто не спасет.

И еще один важный момент этого эпизода — полное волнений ожидание еще неизвестной и неразгаданной, насыщенной тревожной таинственностью войны. Об этом говорит и вопрос шофера: «А разве так можно?.. Чтоб не фрон-

товик и...», — не заканчивает он, да и не может закончить. Мы понимаем, что он хочет сказать, но произнести вслух не решается.

Мысль эта сквозит во всех событиях, пока не начнется неизведанное нечто, именуемое боем, пока не грянет первый выстрел.

Присмотритесь, как ждут этой минуты грузины-бойцы: отцы семейств, крестьяне уже в летах и недавние десятиклассники.

Все они простые, чистые сердцем и честные люди. На всем пути их следования вы слышите гармонию Леуши Мшвениерадзе и барабан Гоги Чавчавадзе. И эта музыка должна заполнить чем-то знакомым, привычным, обыденным время ожидания боя, смерти, того неотвратимого мгновения, когда кровь впервые оросит землю. Писатель словно между прочим рисует еще одну картину, тоже говорящую о многом.

«Зарезать буйвола выпало на долю девятой роты. Несколько самых ловких парней должны были повалить его. Буйвол был сильным и злым, никак не давался в руки... На обреченного буйвола обрушился сильный удар, он рухнул на колени и, высунув шершавый язык, надрывно застонал.

— Эх, настали времена. На таком буйволе еще пахать да пахать, — говорили, вздыхая, пожилые бойцы и отворачивали головы от этого жалкого зрелища.

— Бедняга, он словно подставляет шею под нож.

Длинно сверкнуло в свете огня лезвие кинжала, буйволиная кровь фонтаном брызнула в небо, окрасив все в багровый цвет.

— Фу, нет у людей справедливости...»

Вот и все. Автор ничего не добавляет, но читателю уже понятны эти люди, он знает, что такие выигрывают войну; жалость, которая просыпается в них при виде крови, идет из глубины души, из их человеческой сущности, и эта сущность отвергает войну, убийство как нечто недостойное человека, перечащее его природе. Крестьяне, одетые сейчас в военную форму, немало скотины закаляли на своем веку (без этого как проживешь), но, смотрите, при виде крови они содрогаются. И мне показалось, что где-то промелькнула тень Миндия из поэмы Важа Пшавела. Помните, как удивляются хевсуры: «Почему Миндия запрещает нам рубить деревья и резать скот, когда сам в бою усеивает поле трупами врага?!». Но что поделает Миндия, если при каждом взмахе топора он слышит шепот дерева: «Не убивай меня, Миндия, не лишай света солнца».

И голос предков или инстинкт таинственно диктовал Миндия — грузинскому крестьянину: не пускай смерть

гулять по своей земле, мы все такие же, как ты, но никому не уступим эту землю.

В повести Р. Джапаридзе ответ на этот проклятый вопрос как будто дает генерал Леселидзе.

По батальону пробежал слух о смерти любимого генерала. Однако вскоре сам Леселидзе выехал на коне из лесу, и бойцы воспряли духом.

«Не дадим врагу топтать нашу землю. Эта страна, — Леселидзе откинул бурку и обвел хлыстом горы, погруженные в утренний туман долины, — всегда была нашей и нашей останется, пока мы будем в силах носить на себе рубашку. Недостатка во врагах мы никогда не испытывали. И наголову разбили всех. Все, кто положил жизнь за Родину, были такими же, как и мы, а родную землю никому не дали на поругание».

Эти слова Леселидзе, как уже было сказано, словно дают ответ на тот вопрос, который возникает при чтении сцены заклания буйвола.

Генерал Леселидзе в этой повести показан эпизодически. Тема «Марухских белых ночей» большего и не требовала. Но когда я читал книгу, невольно подумалось, что жизнь и боевой путь нашего генерала заслуживает того, чтобы один из нас, грузинских писателей, подробно и вдумчиво написал ну хотя бы повесть о замечательном военачальнике и человеке. Я не имею в виду произведение документально-биографического жанра (хотя и это было бы неплохо): мне хочется увидеть Леселидзе, воплощенным в художественном произведении так же полно, как нарисован генерал Ватугин в «Молодой гвардии» Александра Fadeева.

Но вернемся к «Марухским белым ночам». Естественно и без нарочитости подводит нас писатель к картинам напряженных и суровых боев. И вот начинается битва. Битва за Марух, потеря которого грозила смертельной опасностью Кодорскому ущелью, Абхазии, всей Грузии.

Только нечеловеческим напряжением сил можно было остановить, отбросить назад врага.

Ревазу Джапаридзе удалось «совместить» в себе добросовестного летописца и замечательного художника — в повести есть и история и проникновение в тайники человеческой души. В этом основное достоинство повести «Марухские белые ночи».

Вместе с братскими народами грузинский народ огромным напряжением сил и энергии, ценой жизни многих своих сынов преградил путь фашистам на подступах к Кавказу.

Р. Джапаридзе эта тема оказалась по плечу.

В своем произведении он расширил (и это очень интересно с точки зрения развития нашей прозы) рамки документальной повести, взвалив на него больший, чем этого требуют законы жанра, груз. Именно в этом своеобразии книги «Марухские белые ночи».

Я не стану пересказывать сцены боев, скажу лишь — в них мы видим характер грузинского солдата, слышим биение его сердца. А трагические, потрясающие своей достоверностью заключительные страницы вновь приводят нас в трепет, о котором говорилось в начале статьи.

Приведу небольшой отрывок.

«Чорголашвили расстегнул гимнастерку на груди сержанта и осторожно, словно боясь разбудить не спавшего столько дней и ночей товарища, достал знамя. Он спрятал полотнище у себя на груди под гимнастеркой и, пригнувшись, уже больше не оглядываясь, побежал вперед.

Но пробежал он немного, всего пять-шесть шагов и, будто споткнувшись, упал навзничь.

Телия послал к скале еще двух бойцов. Но к Чорголашвили добежал только один. Другого — любимца полка, неунывающего балагура и запевалу Пирцхалава сразила пуля. Он был ранен в живот и корчился от боли. Ногами и руками он мучительно греб снег и мерзлую землю, бился головой о камни и кричал каким-то нечеловеческим голосом.

— Ребята, выстрелите, избавьте его от страданий, — крикнул кто-то из-за спины Телия.

Бойцы знали, что пресечь муки смертельно раненного — акт человеколюбия. Но пустить пулю в товарища — ни у одного из них не поднялась бы рука. Еще двое бойцов спустились по скале. Они надеялись оттащить раненого в сторону и чем-нибудь облегчить его страдания. Рухадзе тоже послал двух бойцов. Но ни тем, ни другим не удалось подойти к раненому. Это место было взято автоматными очередями, Пирцхалава сейчас был для немцев удочкой, закинутой для приманки новых и новых бойцов.

В это время внезапно умолк и одинокий «Максим» в тылу у немцев.

А егеря все шли и шли вперед, словно сверху их осыпали не свинцом, а ватой.

Муки Пирцхалава пресекла слепая вражеская пуля. Посланная в живых, она попала в умирающего».

Вот вам истинное лицо войны. Это война настоящая, без ложной романтики и пахучих румян, которыми прикрашивают ее подчас незадачливые литераторы.

«Солнце уходило за далекие вершины. Из глубоких ущелий выползала густая синева и медленно, словно краду-

чьсь, поднималась вверх, по склонам гор.

Кровавый свет заката залил перевал.

Скалистые утесы, будто корабли, снимались с якорей и уплывали в бескрайнее море ночи.

В бледном небе зажглась первая звезда.

Ночь привела в горы ледяной, пронизывающий человека до самых костей ветер. Он все крепчал и крепчал, пока не поднял снежную бурю.

Немецкие егеря с опаской бродили по полю недавнего боя и, чтобы придать

себе бодрости, то и дело пускали в небо автоматные очереди. Но напрасно они искали врага. Из живых защитников перевала там никого уже не было. Только повсюду лежали обледенелые трупы. Ветер укрывал их снегом и там, на заброшенных выше облаков ледниках, готовил к бессмертию».

Подтверждением этого бессмертия героев Маруха является и книга Реваза Джапаридзе.

Она словно эпитафия на их могилах, вечно напоминающих нам о подвиге, на который способно сердце, бьющееся любовью к Родине.

Наши интервью

ВЫИДЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ...

— Редакция изданий на русском языке издательства «Литература да хеловнеба» верна своей традиции знакомить русского читателя с лучшими произведениями грузинской классической и современной литературы, — сказал главный редактор редакции М. И. Златкин, делясь планами на 1965 год.

В этом году будет выпущена первая книга пятитомного подписного собрания сочинений Михаила Джавахишвили. Подписчики получат V и VI тома собрания сочинений Константина Гамсахурдиа, первый том большого исторического романа Анны Антоновской «Диди Моурави». Будет продолжен выпуск книг из серии «Памятники культуры». В 1965 году в этой серии выйдет книга «Русуданиани» — сборник сказочных повестей XVII века.

Из новых произведений, выходящих на русском языке впервые, будет издан исторический роман Григола Абашидзе «Лашарела», сборник рассказов Эдишера Кициани «Зеленый занавес», осетинского писателя Георгия Дзугаева «Ясный день после дождя» и другие.

Выйдет в свет сборник повестей и рассказов Серго Квдиашвили, роман Александра Кутатели «Лицом к лицу», «Рассказы, повести,

воспоминания» Давида Сулиашвили, повести и рассказы Раждена Гветадзе — «Жизнь начинается снова», новая книга прозы поэта Тамаза Чиладзе «Первый день».

В 1965 году будет издан новый роман Анатолия Кузьмичева — русского писателя, много лет живущего и работающего в Грузии — «Дети становятся взрослыми».

Готовятся к печати книги журналистов — Л. Мачаидзе «Репортаж с борта «Шота Руставели» и сборник очерков и юмористических произведений Юрия Звягина «Искры не остывают».

Из современной поэзии в 1965 году читатели получат сборники стихов Ираклия Абашидзе, Симона Чиковани, Алеко Шенгелиа, Шалвы Амисулашвили, Алио Адамия, Шота Нишнанидзе, Мориса Пощишвили, Мартина Карамяна, Глана Онаняна, Владимира Панова. Выйдет сборник стихов курдских поэтов, живущих в Грузии, в который включены произведения поэтов Т. Броева, Д. Асада, Ш. Гасана, М. Мамедова, Б. Иско и других.

В жанре критики и литературоведения будут выпущены «Очерки по истории грузинской советской лите-

ратуры» С. Чилая, «Русско-грузинские литературные связи» Анны Николадзе, «Литературные статьи» В. Мачаварнани, сборник критических статей М. Заверина, книга литературоведа Г. Бебутова «Лицом к лицу с читателем» (Новое о Маяковском).

В разделе «Искусство, мемуары» запланировано издание сборника Котэ Марджанишвили, включающего его статьи, выступления, переписку. Значительная часть сборника отведена воспоминаниям о Котэ Марджанишвили, написанным выдающимися русскими и грузинскими артистами и театральными деятелями.

Интересна книга Коры Церетели «Страницы истории грузинской кинематографии», в которой автор приводит замечательные факты подлинно творческого сотрудничества мастеров киноискусства. В ней рассказывается о совместной работе М. Шолохова, С. Эйзенштейна, С. Третьякова и В. Шкловского с кинематографистами Грузии.

В плане этого года — книга Вахтанга Беридзе «Памятники древнегрузинской архитектуры», а также «Старый и новый Тбилиси в литографиях Н. Н. Чернышкова».

То, что мы называем книжностью

Заметки о современной поэзии

Очень много стали о книжности говорить.

Книжные отроки в повестях гуляют и в романах; критики этих отроков препарируют; поэты показывают читателям мозолистые руки, либо — если нет мозолистых рук у них — хватают геологические молотки и бегут в дорогу, набивая мозоли на ногах, честно искореняя книжность из стихов своих.

Книги или дороги? — так ставят сегодня вопрос. Книги — жизнь выдуманная. В дорогу!

Как сказал молодой геолог и поэт Вл. Павлинов, — плевать нам на все бумаги — лишь бы руки не подвели.

Геологический бунт против бумаги — мода недавняя и, видимо, недолговечная; бунт этот достаточно бесхитроsten и быстро изживает себя: пыль дорог кажется нам более реальной, чем пыль библиотек, пока дороги «зовут» нас, как орнамент на карте; мы можем даже собственнически ходить по этим дорогам, но ни следа действительного нашего бытия не окажется в тех следах, которые мы оставим на дорогах, пока будут они для нас специальной панацеей от книжности. Ибо реальность, искусственно создаваемая в противовес книжной, — та же выдумка, только вывернутая наизнанку: сколько тут всамделишной грязи ни соберешь на сапоги, — реальность эта кажущаяся, потому что она подстроена. Сегодня с книжностью воюет символический бородач в штурмовке, а вчера воевал с книжностью символический романтик-десятиклассник; смена костюмов в поэзии — тоже интересное зрелище, но более важным кажется мне другое: вот уже десять лет меняет костюмы молодой герой нашей лирики, а ненависть его прикована все к тому же неуловимому противнику, которого в яростных филиппиках именует он Книжностью. Как-никак, а в середине XX века с его всеподчиняющим производством духовных систем, с его разветвленным культом знания — эта непрекращающаяся атака на книжность сама по себе много более интересна, чем тот очередной костюм, в котором кидается на свои

ветряные мельницы наш обросший в походах юный геолог. Десять лет назад, помнится, этот юноша не был столь яростен; он даже слегка гордился своей книжностью; устами Роберта Рождественского он звонко провозглашал: «Вышли в свет романтики, все у книг занявшие...» Тревога проскользнула уже у Владимира Соколова: «И в листьях слышишь шорох книг и книжек. Но книги правду говорят лишь тем, кто смеет жить всерьез...» В поисках этой серьезной жизни и заметался в ту пору Евгений Евтушенко: «О правде гадали по строкам в Гайдаре», — и начался атака на обманную книжную экзотику.

Критика тогда же стала осмыслять эту тенденцию; Ю. Суровцев был один из первых, кто описал ее; статья Ю. Суровцева о грузинских лириках «филологического поколения»¹ была, кажется, первой попыткой осознать книжность молодого героя в связи с его реальным историческим опытом. Ю. Суровцев писал об «исключительно гуманитарной подготовке» грузинских лириков послевоенной волны, о «несколько изолированной от практической жизни обстановке», о «неустоявшихся характерах и малюсеньком запасе собственных жизненных наблюдений...». «Сравнительно несамостоятельная, бесплодная, сравнительно далекая от больших и малых практических тревожений повседневной жизни», — так описывал Ю. Суровцев нашу юность, и видя в этом истоки проклятой книжности нашей, предсказывал, что изжить книжность поможет лишь «начало собственной трудовой деятельности, а вместе с ней начало накопления собственного опыта, лично «заработанного», личными усилиями добытого...»

Прошло шесть лет.

Устоялись характеры.

Началась «собственная трудовая деятельность», появились «тревожения повседневной жизни»; «лично заработанный опыт» сделал наших сверстников всеосознано известными поэтами.

И тут выяснилось, что проблема не решена.

Статья печатается в порядке обсуждения.

¹ «Близость к жизни и глубина поэзии». «Литературная Грузия», 1958, № 4 5, 6.

...Что **книжность** остается вопросом вопросов.

...Что бичуя и проклиная ее, поэзия продолжает, как заколдованная, ходить вокруг этой магической точки.

...Что самые откровенно книжные поэты по каким-то парадоксальным законам упорно продолжают попадать в центр внимания.

Осенью 1959 года в журналистских кругах Москвы разнесся слух о необыкновенной девушке, которая, всю жизнь по болезни проведя в четырех стенах и не покидая своих Мьтищ, лишь по книжкам одним достигла такого поэтического умения, что хоть сейчас издавай. Парадокс подтвердился, когда «Комсомольская правда» посвятила этой поэтессе половину страницы; в предисловии к стихам говорилось, что девушка, написавшая их, «много читала, много слушала, много думала. Книжки, радио и люди доносили до нее образы и ароматы жизни, великую красоту и силу искусства». Подборка имела успех, и в декабре газета вторично дала щедрые полстраницы для новых стихов дебютантки. В следующем году ее уже печатали ведущие журналы. В 1961 вышла книжка.

Новелла Матвеева получила признание.

Удивительность этого дебюта заключалась в том, что новизна и свежесть открылись в поэзии откровенно, подчеркнуто, исключительно книжной.

«Рембрандт». «Рубенс». «Киплингу». «Памяти Пришвина». Это названия стихотворений. Темы и аксесуары поэзии Новеллы Матвеевой литературны и экзотичны. Джунгли. Обезьяны и попугаи. Колокольчики лиан и «чудовищный цветок» алоэ. Гайавата (в переводе И. Бунина): синенют в сумерках вигвамы, скользят пороги под ветвями. А вот — с крестами и виски — коварные миссионеры. Джонни с винчестером, сигарой и кольцом от Мери дорогой. А вот Фриц, мечтающий о своей Лотхен. А вот «британец властный». Старое фламандское вино. Манжетка гнома. Мокрые грибы под деревом и записная книжка доброго старичка... От Киплинга до Пришвина, как сама поэтесса хорошо сказала, — «полный книгами старый дом».

Книжность — материал ее поэзии. Книжен и сам ход ее раздумья. Архивариус — символический герой. «Его стихия — старая бумага... Раскопок ждут бумажные пласты... Читает он с глубоким видом мага... Мгновение — и старый документ, как заклинанье, выудит из мрака гиганта с волосами из комет». Это сказано о себе: Матвеева расшифровывает иероглифы, знаки, символы.

Она берет кусочек янтаря и, как архивариус, прочитывает в нем «леса, которых нет». Берет снежинку. «... Как сложилась песня у меня? — вы спросили. Что же вам сказать? Я сама стараюсь у огня по частям снежинку разобрать...» Она, словно снежинку, разбирает отвлеченные законы жанров: «завидую далеким временам, когда сонет мешал болтать поэтам...» — и все ее искусство может и впрямь показаться выращиванием ледяных цветов и изобретением литературных редкостей: «О! Много Шекспир вложил в уста сонета, но ведь осталось же несказанное где-то». Домысливать недосказанное другими — право, занятие для следователя, не для поэта.

Поэт открывает мир заново, открывая в этом мире себя.

Новелла Матвеева играет в архивариуса. Но на наших глазах холодные камни ее таблиц и гробниц высекают живую искру, и в абсолютно книжной сфере оживает поэтическая личность.

В чем тут секрет?

Один английский философ писал: нет ничего занятнее, чем составлять себе верное представление о происшествии по искаженным, тенденциозным репортажам — для этого надо читать репортажи, тенденциозные диаметрально: ложь уничтожает ложь, произвольно обрисовывая рельеф фактов.

Отвлеченности могут дать представление о реальности, но для этого они должны сшибаться друг с другом.

Новелла Матвеева сшибает отвлеченности.

Книжные атрибуты, готовые символы, образы третьей степени сталкиваются у нее, сплетаясь в сложные метафорические комплексы. В них бьются мысли и воображение, они живые, они свидетельствуют о личности.

Есть готовые красоты: полог неба, нитка журавлиной стаи. Новелла Матвеева прошивает полог неба ниткой журавлей. Пейзаж ожил.

Есть символ: молот. Есть символ: серп. Есть серп Луны — тоже символ. Матвеева скрещивает символы. Ее отклик на полет советского лунника — один из лучших в нашей поэзии:

Земной рабочий молот
Упал на лунный серп.
Какие силы могут
Разрушить этот герб?!

Символы оживают — в этом суть мастерства Матвеевой. Она намеренно извлекает из слов их самые отвлеченные значения: «Поскорей наполним нашу все равно какую чашу: чашу кратера вулкана или чашечку цветка». Осознать

в отвлеченном образе его отвлеченность — уже это есть акция живой личности.

Матвеева дает только отвлеченный, только книжный смысл образов, но в том, как она их сталкивает меж собой, — открывается беспокойство человека, доискивающегося реальной правды.

«Мысль», «рассудок», «разум» — эти слова встречаются у Матвеевой часто. Но ее поэтическое мышление не рассудочно, Рассудочность — это слепая вера в абстракции. А она им не верит. Она их разрушает, сталкивает. Разумность Матвеевой — не рассудочность, а скорее интеллектуальная игра, в которой рассудочность опровергается. В этом качестве стихи Новеллы Матвеевой напоминают старые стихи Леонида Мартынова, довоенного Мартынова, автора «Тобольского летописца» и других поэма тридцатых годов.

Мартыновский Игнашка Шпак в ту пору не имел опыта и знаний, чтобы уличить в обмане искателя руд, который предлагал озадаченным посадским людям купить у него «за три рубля» волшебный прут, что видит в недрах соль земли. Однако Игнашка смог опровергнуть мошенника при помощи чистой логики и абстрактнейшей логики:

« — Коль прут сей видит вглубь земли, так он не стоит три рубли. А коль он стоит три рубли, так он не видит вглубь земли».

Мартынов в этих поэмах все время испытывает мир на его логичность. И все время поражается: логика опрокинута, мир казулистичен, полон хитрости и предательства. Мартыновская игра слов — любованье логикой, чудом сохранившейся в закоулках изображаемого им мира, поправшего логику. «Непостижимо для ума на свете многое весьма», — весь ранний Мартынов в этой изумительной строке!

У Новеллы Матвеевой нет мартыновского блеска и исторической глубины, но поэтический тип — тот же: взбудораженная логика испытывает мир, изумляясь несоответствиям:

Всех сводят сводники:

Козла — с капустой;

Сор —

С отсутствием метлы;

Рубашку — с молью;

Огонь с водой;

Пилу или топор —

С деревьями;

Шиш — с маслом,

Рану — с солью.

Но близок час расплаты!

Он придет —

И сводника со своднею сведет.

После выхода «Кораблика», второй книжки Н. Матвеевой, могло создаться

впечатление, что красота ее поэзии — это лишь красота далекой сказки, экзотической страны Дельфинии, синтезезеленого моря и алых парусов, возроденных через тридцать лет. Если бы в стихах Матвеевой было только это — ее поэзия осталась бы простым перепевом гриновских мотивов. Но в стихах Матвеевой притягивало что-то новое. Не сказка была душой ее поэзии, а то, как сказывалась сказка. Обостренное, беспокойное, недоверчивое вглядывание в книжный образ, стремление разрушить этот фантом, разгадать его, испытать его логикой — вот нерв матвеевской поэзии. Ее камерная лирика чревата масштабностью. Узкая тематически, камерная поэзия Новеллы Матвеевой демонстрирует тот обостренный умозрительный интеллектуализм, который возникает на базе чистой книжности, если в книжном плену оказывается внутренне сильная, ищущая натура. Активность этой природы приходит интуитивно в столкновение с отвлеченным материалом, окружающим ее; затиснутая в книжные образы, не имеющая иного оружия, личность сотрясает и разрушает этот мир, требуя себе масштабов, требуя себе — реальности.

Возьмите у Новеллы Матвеевой ее парадоксальное сличение понятий и опрокиньте эти парадоксы на эпический широкий материал — и вы получите поэзию Наума Коржавина:

Век открывался для меня не просто.

Он был противоречьем во плоти.

Я видел подлость — знаю благородство.

Я видел мрак — и знаю свет пути.

Век шел к свободе — и крепил законы.

Все для войны — и не любил войны...

Был бунтовщик и — надевал погоню...

Был демократ — и соблюдал чины.

Коржавин сталкивает понятия, но это уже не игра в логику, а попытка понять логику истории. Коржавин исходит из отвлеченных значений — но ищет он реальность исторического движения. Коржавин книжен — но это уже иной уровень и тип книжности.

Новелла Матвеева любит литературные реминисценции, она вводит в стихи строки Пушкина. Для Матвеевой пушкинские строки — элемент орнамента, средство усиления парадоксальности, предмет игры. Вот ее «Ответ анониму»: — «Я к вам пишу. А как вас звать? Никак? Чего же боле?! Меня презреньем наказать никак не в вашей воле».

У Коржавина тоже есть вкус к реминисценциям. Он тоже вливает в свои стихи строки классиков. Он тоже уходит в исторические фолианты. Война с Наполеоном. Декабристы. Карл Либкнехт. Нигилисты прошлого века. Но одно су-

щественное обстоятельство отличает его книжность от книжности Новеллы Матвеевой. Коржавин не коллекционирует книжные раритеты, но мучительно доискивается их смысла и всеобщей связи — он ищет внутреннюю последовательность и спасительную логику в историческом процессе.

Коржавин парадоксален, но только в исходной точке размышленья. Цель его — разгадать парадокс, разрушить его, раскрыть в нем логику. Отсюда — ведущий коржавинский мотив — связь времен. Петербург становится Ленинградом. Мы родословную духа ведем от баррикад. Нигилисты швыряют бомбы в царя, и самое главное: нас бы не было без них... Возвращаясь в прошлое, поэт пристально вглядывается в него, стараясь разгадать в нем неизбежность нынешнего. С Бородинского поля скачут впереди русских полков сумрачные офицеры. Коржавин вглядывается: и бунта ихнего начало лежит, наверно, в этом — тут. Потом погоны генералов с них — будет час — за бунт сорвут... В баррикадных боях 1905 года участвует рабочий — марксист-большевик. Коржавин ищет в нем взгляд грядущего: и так же наркомом он станет, но это уж будет потом... В дымных и туманных питерских пригородах конца века поэт находит одинокого пешехода, ничем не приметного внешне, — всматривается: и было двадцать пять ему, и звался он еще Ульянов... Исторический детерминизм, историческое «вчера», «сегодня» и «потом» — вот главная забота Коржавина; он берет на шкале времени точку и старается угадать в ней движение; он влезает в душу разомлевшего от пива прусского филистера и ищет, где же в ней притаился вихрь еще не наступившего XX столетия; он твердо верит: закономерность есть, и надо только разглядеть ее.

Эта вот абсолютная вера в логику, в справедливость и необходимость, в неразгаданную стройность истории при всей видимой ее хаотичности — и есть главная вера Коржавина. В масштабности исторических построений, в этом безраздельном доверии к логике, в умении воссоздавать ее — своеобразие его поэзии. Во многих отношениях Н. Коржавин стоит в современной поэзии как бы особняком.

У его старших сверстников: Межирова или Панченко, Левитанского или Окуджава — нет такого вкуса к отвлеченностям, — в их поэзии больше крови и плоти, вещности и материальности.

У его младших сверстников: Евтушенко или Рождественского, Вацетиса или Чиладзе — нет такого вкуса к масштабности, такой страсти проследживать разветвления истории изнутри.

Коржавин оказался как бы между этими поколениями, соединив и в соб-

ственной биографии черты тех и других. Ровесник Винокурова, Коржавин возрастом примыкает к фронтовикам. Судьбою к нам: он не попал на фронт (из-за плохого зрения). Поэтому возмужание было связано у Коржавина не с огнем атак, как у его сверстников, а с холодом эвакуации, как у послевоенных поэтов: тут детские мечтания, духота поездов, встречный воинский эшелон, в столовой толпа, голодная девочка, просящая хлеба, а главное: война — не в окопной конкретности, а лишь в широкой ее сути, в мировом обобщенном смысле. Такой она и останется в сознании Коржавина, война — столкновение идей, война — шрам на челе планеты, война — бедствие истории: «Я пишу не затем, чтоб свести свои счета с Германией и найти в ней причину всемирного, вечного зла...» Вы чувствуете: это именно то, что он ищет!

Чем превосходил Коржавин певцов военного детства?

Возрастом, но не опытом!

Его мироучувствование было по сути таким же, как у наивных юных мечтателей — просто оно было более оформившимся, более последовательным. Оно было более масштабным.

«Что мы услышали от мам? Все то, что прочие? Едва ли! Другие песни спели нам, другие сказки рассказали. Мы были новою страной, еще не признанной, но сущей. Гражданской сказочной войной она прорвалась в мир грядущий», — пишет Коржавин, обращаясь к своим сверстникам, родившимся в двадцатых. Эти слова можно отнести и к родившимся в тридцатых: ощущение сказочной первородности нашей страны было и нашим ощущением, — когда все виделось мессиански великим, события — балладами, дни — датами, люди — героями. Критик В. Сарнов в работе о Евгении Винокурове заметил, что до войны Винокуров и Евтушенко представляли собой одно поколение, ими владело одно мироощущение, выраженное тогда Павлом Коганом и его товарищами: освобожденный от цепей зем шар, вихри революций, режущий глаза ветер истории, косые углы и осмеленные овалы. Война разделила их на взрослых и детей. Взрослые гибли, побеждали, мужали. Дети хранили мечту. Коржавин был с ними, но он был старше, с его поэзией произошло то, что, наверно, произошло бы с поэзией Павла Когана, если бы не война...

Коржавин доводит до логического конца ту духоподъемную, полную романтического пафоса и революционного рационализма нравственную программу, которая перед войной водела пером Когана и Кульчицкого, Отрады и Майорова. Да, проходят годы, и Коржавин пересматривает когановскую уловатость, исходя из когановской же мечты о ми-

ровой гармонии, он меняет методы, исходя из тех же целей. В этом смысле коржавинская поэзия — уникальный пример дошедшего до нас умонастроения довоенных мальчишек, умонастроения, не слугнутого войной, но и не растрченного по младости, а сохранившего свою рациональную силу, чтобы судить себя по своим же законам.

Коржавин переосмыслиет Когана. Он ставит эпиграфом строки: «Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал» и пишет далее: «Меня, как видно, бог не звал и вкусом не снабдил уточненным. Я с детства полюбил овал за то, что он такой законченный... Но все углы и все печали, и всех противоречий вал я тем острее ощущаю, что с детства полюбил овал».

Может быть, Коган написал бы сейчас такие же стихи. Тогда углы казались ему признаком справедливости. Теперь он искал бы справедливость иную. Впрочем, война все равно сделала бы его другим, даже если бы он вернулся. Но тот Коган, безраздельно верящий в логичность истории, сейчас написал бы нечто подобное: их объединяет с Коржавиным одно решающее качество: абсолютная вера в историческую логику. И поэтому Коржавину легко спорить с Коганом: чтобы столь уверенно заменять угол на овал, надо иметь общую геометрическую поверхность.

Но чтобы пробиться сквозь эту поверхность к реальной жизни, нужен реальный опыт: сказки, рассказанные тебе в детстве, могут быть для тебя правдой поэзией, но лишь до той поры, пока ты не знаешь другой опоры, пока сам ты умеешь жить лишь в сказке; а зрелость неизбежно приходит, врывается — к Когану войной, к Коржавину...

Намертво взятая в плен исторической логикой, поэзия Коржавина всецело остается в пределах книжного мышления. Мы все время чувствуем, как, не находя иных опор, неистово бьется в этом кольце упрямый ум Коржавина. Как вбивается он в готовые книжные символы, выпытывая у них логику. Как не находит — и вбивается вновь.

«Над книгой Некрасова. 1941» — озаглавлены стихи. Они построены на реминисценции, на готовом книжном образе. «Столетье промчалось. И снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Коржавин вводит некрасовскую крестьянку в горящие села 1941 года — так рождаются строки, поразительные по силе и емкости, может быть, лучшие строки Коржавина:

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд...
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Для того, чтобы «преодолеть книжность», поэзии не надо отбрасывать книги. Главное — чего взыскуешь ты у книг. Можно бесконечно циркулировать по гляncy исторических картин, пытаться сопрячь эти картинки овальной линией логики, а потом вдруг — как взрыв: «Но кони все скачут и скачут...» — и прорван глянец, и плоскость — иная, и чувствуешь, как бьется там, в кольце понятий и реминисценций, ничего не забывающее живое сердце.

Поэзия — там, где реальность духовной жизни, где реальность личности.

Метнуться из книжного окружения в поисковую партию или даже на строительство Братской гидростанции — еще не значит уловить реальность: реальность хитрее, и она, между прочим, повсюду — и в Братске, и в Ленинградской Публичной библиотеке; чтобы разгадать ее, мало взглянуть: надо найти в ней себя, осознать ее в единстве со своим духовным опытом.

Мы говорили о книжном отроке. Узнает ли сей отрок жизнь, если, отряхнувшись от книжной пыли, подышит кислородом в Братске? Нет! Грандиозная панорама стройки окажется для него продолжением книжности, очередной картинкой на призрачном куполе его знаний. Как тут пробиться к реальности? Как войти в ее структуру, стать ее частью, почувствовать в себе ее логику? Реальный опыт не идентичен мозолям на руках или ногах — он дается лишь осознанием своей судьбы в судьбе мира. Или вы думаете, что насиживая себе мозоли в Публичной библиотеке, вышеупомянутый книжный отрок хоть на йоту приближается к той реальности, которая сокрыта в движении идей, движении мысли? Тоже нет! Потому что нет и здесь участия. Надо осознать в своей книжности меру ее реального смысла, действительность в ней осознать, судьбу.

У Льва Халифа, издавшего недавно первую книгу «Мета», многое продиктовано непосредственным опытом. Безотцовщина, детство военных лет. «Поколение на фронт смотрящих издали, поколение не отлученных на фронт...» «Мне эта наука давалась не очень... Я был путевой рабочий...». Многие стихи Халифа написаны, так сказать, прямо о жизни, о ее «практических треволнениях», о том, как строили железную дорогу, о том, как летают летчики... Не странно ли, что именно эти, очищенные от «книжности» стихи — в конечном счете оказываются неуловимо книжными? «Тебя я прошел и руками потрогал. Железною песней ты стала, дорога...» Как видим, измерить что-либо пешком и даже погрозить руками — еще не все в поэзии; это не гарантирует от общих

мест типа «железной песни», «крыльев тугих» или «неукротимых замыслов». А главное — эти благостные общие места совершенно не впадают с тем, что в поэзии Халифа составляет самую душу: с его неуютной, беспокойной, взбодраженной интонацией.

Вернемся назад. Лет за восемь до первой книжки Халиф дебютировал в газете миниатюрой, которая впоследствии пошла гулять анонимно и псевдонимно по литературным нивам, кочуя по романам и повестям в качестве известной всем притчи. Вот она:

- Из чего твой панцирь,
Черепаша? —
Я спросил и получил ответ:
— Он из мной накопленного страха.
Ничего прочнее в мире нет.

Стихи по видимости куда более условные и книжные, чем цитированные нами в заглавном воспоминании путевого рабочего, — но какая неподдельная поэтическая сила в них! И опять тот же самый секрет: блеск чистой, так сказать, мысли... Халиф оживляет книжные понятия, соединяя их в парадоксальном единстве, он высекает искру поэзии из черепачьего панциря так же, как Новелла Матвеева высекала ее из каменной гробницы, а Коржавин — из окаменевших цитат... Халиф делает это резче, он саркастичен, жесток в интонации. Осмысливая мировую историю в ее драматических моментах — от стрелецкой казни до эвакуационных буден войны, от дней Коввента до Дня Космонавта, — Халиф тоже старается найти прочные, железные формулы бытия личности в потоке времени. «Плавь нас, время, пробуй, но чекана — не кроши в разменную монету, ты до звона в онемевшем камне нас пометь своей особой метой!» История теряет у Халифа коржавинские плавные очертания, и время человеческой логики, которое подобно Коржавину приветствует Халиф, — далеко от завершенной овальности. Халиф возрождает углы. Мир пахнет для него вселенскими ветрами. Но в ритмы истории, в ритмы вселенной герой Халифа вживается иначе, чем герой Коржавина: у Халифа гармония взорвана, мир неуютен, пронизан ветром; ветер — сквозной мотив, и гулкое эхо, и простор... Да, Халиф книжен в лучших своих стихах — потому что он втягивает в свою поэтическую орбиту книжные понятия, сошедшие к нам со скрижалей; потрогать Великую Французскую революцию так же трудно, как измерить шагами понятие «мещанства»; но в окружающих нас понятиях таится взрывчатая сила, которую освобождает талант поэта: «Мещанин — рылолюбец — дуб с чело-

вечей корой... Ему тоже нужна революция, если он — не король».

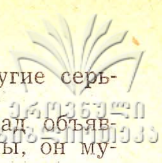
То, что мы называем книжностью, может быть чертой судьбы, реальностью духовного опыта. Как быть, если книги становятся для тебя жизнью? Если мир впервые пришел к тебе в отвлеченных пятой степени? Сегодня легко представить себе человека, вынесшего из многолетнего современного учения в юности разветвленное знание о жизни: знание не просто предшествует в его судьбе живому опыту — сам опыт становится продолжением и элементом знания... Так чем же будет книжностью для современного этого человека? Химерой? Нет! Реальностью его судьбы! Теперь, чтобы потерять себя, ему достаточно выдумать себе какую-нибудь иную «реальность»: пуститься, скажем, в поход или иным способом приобщиться к «тревожениям». Для того же, чтоб понять себя, этот человек должен сделать прежде всего одно. Взглянуть в глаза этой самой книжности. Не лгать себе.

Да, только поначалу этот книжный мир кажется гармоничным, и лишь поначалу наш отягощенный учением юноша с надеждой простирает к нему свои знания. В это мгновение его поэт — Коржавин. Но неизбежно ледяной ветер, поднявшийся из этих отвлеченных глубин, пронижет человека насквозь. Это — поэзия Халифа. Только будет еще гармония, и будет вновь обретенная цельность, правда, иная... Что остается человеку, пронизанному ветром истории? Так или иначе — ему идти вперед. Скорее всего, улыбнется человек своей былой наивности.

Тут я вспоминаю поэзию Кушнера.

Книгу свою Александр Кушнер назвал «Первое впечатление». Не знаю, имел ли в виду молодой поэт хитроумного князя Талейрана, который, как известно, советовал б о я т ь с я первого движения души, потому что оно самое благородное, — но поэзия Кушнера полемична по отношению к такого рода хитроумным концепциям: Кушнер верит в первое, как он говорит, «мимолетное» впечатление именно потому, что оно достоверно и не подвластно еще уловке и умыслу — пусть оно не повторится снова и «проживет немного дней, но настоящего, второго, оно и ярче, и милей».

Кушнер по самой структуре таланта антикнижен, он покоряет непосредственностью, прозрачностью, достоверностью взгляда, он мастер передавать живое течение повседневных буден. Именно у Кушнера книжность оказывается тем, что есть она в его судьбе, — чертой реальной жизненной биографии. Из стихов поэта встает вполне конкретный образ молодого учителя-словесника, который живет в Ленинграде, может быть, неда-



леко от Публичной библиотеки, который выходит по утрам на холодную набережную, слушает свирепый невский ветер, читает на углу объявления и, оглядываясь на Петропавловский шпиль, хорошо знает, какие литературные ассоциации должны при этом возникнуть. Мы знаем о судьбе этого поэта все: мы видим фильм, который он, замирая, смотрел перед войной, мы слышим, как гремят в репродукторе боевые сводки и капаят капли с потолка, мы чувствуем, как эвакуированный мальчишка ждет писем с фронта... Мы ощущаем атмосферу Ленинграда: с летящими и неловкими домами первых пятилеток, с потемневшими эмблемами Осоавиахима, с холодным простором «Воздухоплавательного парка», с рабочими кладбищами, самые звуки названий которых дороги нам: «не на тихом, деревенском, где лишь вороны кружат, — за Обводным, на Смоленском и на Волковом лежат».

Итак, Кушнер — реалист до мозга костей. После отвлеченных орнаментов Матвеевой, после коржавинских исторических построений и кованых парадоксов Халифа — акварельный Кушнер обезоруживает, как мимолетная улыбка. И вот всей логикой реалистичнейшего своего мышления Кушнер приходит к той же теме, в кругу которой оставались и Матвеева, и Коржавин, и Халиф.

Книжки, учебники, музейные ветхие экспонаты, литературные ассоциации — Кушнер весь в кругу такого рода интеллигентности, но удивительная реалистичность его письма гасит в этой книжности ее магический блеск, превращая ее в деталь живой судьбы. Кушнер преодолевает магию отвлеченных понятий, он выходит из-под власти умозрительной гармонии (в которую смутно верит Коржавин и которой смутно не доверяет Халиф), он ее снижает, с горных высот он опускает ее на школьную парту, он объективирует ее, улыбаясь этой книжной магии, как улыбается украдкой школьный учитель потрясенно восьмиклассницы, впервые прочитавшей «Бедную Лизу» (в душе он характеризует основоположника русского сентиментализма без всякого пиетета: «Он открыл среди полянок много милых поселянок. Он заметил среди полян много милых поселян» — все верно, и вместе с тем какая ветхость!). С улыбкой наш обаятельный словесник продолжает присягать книгам и наукам: «О химия! Любовь моя!», «Сияет физика повсюду...», «И геометрия царила, и в ней гармония была...». Гимны наукам подозрительно похожи на школьное расписание; поэт, окруженный книжной «гармонией», не верит в нее ни одной секунды. Что выдает его? Улыбка!

Кушнер шутит там, где другие серьезные.

Станислав Куняев бьется над объявлениями о наборе рабочей силы, он мучается: почему же «отсутствует спрос на юристов, журналистов и редакторов». А Кушнер улыбается: «О друзья, набирайтесь терпенья! Слушайте иногда объявления! Веселее от них на душе, даже если ты занял уже».

А. Передреев пишет о смятении, в котором просыпается разбуженный поутру радиопередачами его уставший герой... Звонки будят, зовут и кушнеровского героя, а он пошучивает: «И дерутся, пока я встаю, за бессмертную душу мою».

Белла Ахмадулина, услыша свой голос на магнитофоне, жалуется на трагическое расщепление личности: «Мой голос плачет отвлеченно». Кушнер слушает и ухмыляется: «Техника спасает наши души».

Герой Кушнера с улыбкой встречает превратности судьбы, будь то несчастье в любви или скука буден, или обман... Это улыбка шута: он подыгрывает глупости, изъясняя покорнейшее желание раствориться: «и счастлив я способностью воды покорно повторять чужие формы...» Он притворяется маленьким человечком: «Не замереть ли, голову склоня?.. И всех просить: не трогайте меня!»

В простом, акварельно-прозрачном мире, среди «больших и малых практических тревожений повседневной жизни» спокойный и внимательный глаз Кушнера легко различает фантомальное царство отвлеченностей, окружающее его с детства; герой Кушнера проходит эти трясины с улыбкой, он улыбается, как циркач-фокусник, подбрасывающий гири: все смеются, думая, что гири картонные, и никто не знает, что они настоящие.

Настоящее содержание поэзии Кушнера — это самое прозрение его в фантомальном книжном мире, это драматизм открытия подлинной жизни в зыбких книжных туманах, это самый переход подлинности в кажимость и обратно...

Одно из лучших стихотворений Кушнера — «Радищев» — построено на переосмыслении готовых, стократно цитированных книжных образов. Но в отличие от Коржавина, Кушнер оглядывается не на столетие, а на полтора столетия назад:

Ему потупиться бы скромно:
Живи один, себя спасай.
Радищев! «Чудище огромно,
Стозевно, обло и лайяй».

Книжность взята в ладони, низведена до школьных цитат:

И вот стучит ногами гневно,
Кричит и требует воды

Богopodobная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!

В хрестоматийной и отглянцованной фигуре первого российского революционера Кушнер прозревает живого человека, уязвленного в своем достоинстве, и это — не «книжная», а реальная драма:

Несовершенным мирозданьем
Во все века и времена
И человеческим страданьем
Его душа уязвлена...

И вот эта выявленная в живом, нервном существовании человеческая судьба мгновенно прячется опять в отчужденный хрестоматийный глинец:

А зло темно и вероломно:
Сибирь, Приехал. Вылезай,
Радищев! «Чудные огромно,
Стозевно, обло и лайй!».

Поэтическая мысль Кушнера как бы пульсирует между фантомальным миром книжности и угадываемым за ним реальным миром людей. Эти миры неразрывны, они не могут освободиться друг от друга, а поэт все пытается их развязать — в этом непрестанном усилии заключается истинный драматизм и настоящая правда поэзии Кушнера.

Есть в этом драматичном усилии что-то глубоко характерное для нынешней поэзии. Важное что-то есть.

За две тысячи километров от холодного Ленинграда, за жаркими кинжалами гор, вырастет на совершенно иной национальной почве поэзия грузинского сверстника Кушнера; но приехав в северную столицу, Тамаз Чиладзе вздрагивает на улице от такого же ощущения: то ли старинная литература оживает на глазах, то ли реальность мерцает книжной картинкой: «Улицу перейдет Никова дама. Я поосторожно — посмотрю ей вслед. Что это за дама? Что это за дата? Все я вам выдумываю. Дамы нет...»

Поэзия Тамаза Чиладзе насыщена атрибутами древней культуры; многовековое развитие грузинской лирики осеняет его стихи; великие имена и великие названия соединяются в поэзии Тамаза Чиладзе в тот отточенный и изысканный узор, вне которого, как мне кажется, вообще не понять красоты и прелести грузинской поэзии. Чиладзе спокоен и раздумчив, среди грузинских лириков он выделяется уравновешенной сосредоточенностью; его чувства неотделимы от раздумий, от анализа; «течешь ты без гудения, без грохота — и волны твои мудрости полны», — в устах Тамаза Чиладзе это звучит почти как само-

характеристика: на фоне нынешней молодой грузинской лирики, впитавшей напряженную музыкальность — Галактиона Табидзе, — поэзия Т. Чиладзе кажется созерцательной, она — тютчевского толка. Когда поэт вспоминает Светицховели, — то это не чувственно воспринимаемый облик гениально построенного здания — это символ, древний посланец великой культуры, элемент легенды... «И я стою в кругу веков и эпох, — пишет поэт. — Переливается на скалах Икалто...» Усталый Сулхан-Саба в стихах Чиладзе качает Грузию на коленях, голос Камари доносится из сказок, и Джвари, как корабль, бросает якорь в его поэзии. «Примерзли к небу, словно эти скалы, гудки обледенелых кораблей... Похоже все на северные сказки, дошедшие до родины моей...» Похоже! Недаром на улицах северных городов чудится поэту стук палки Лютера, и Вильен Ли рыдает на мосту Ватерлоо, и пушкинская Лиза спешит вдоль Невыреки... Высокая, чарующая книжность.

В какой-то главной точке поэзия Тамаза Чиладзе, идущая от совсем иных традиций и от иных древних книг, — перекликается с поэзией его северных собратьев.

О, у кораблика бумажного
есть с настоящим тождество...

«Вы вспоминаете здесь сказочный кораблик Новеллы Матвеевой, который «сам себя, говорят, смастерил»...

Все это кажется
и вместе с тем не кажется...

Вы чувствуете, как знакомо нам это мерцание, когда сказка переливается в реальность, и реальность — в сказку, когда призрачность и быль причудливо и зыбко сливаются друг с другом.

Ну, а если придется
с несчастьем столкнуться,
улыбнусь ли открыто и смело тогда?
(А ведь стоишь
тогда улыбнуться!)

Вы улавливаете, как сквозь тернии перевода пробивается к нам интонация подлинника: улыбка скрывает драматизм. Конечно, это не кушнеровская улыбка: Кушнер балагурит с нами, а Тамаз Чиладзе скупно улыбается про себя... Но истоки интонации, внутренняя тема, конфликт, порождающий поэзию, — все тот же. Поэзия Тамаза Чиладзе рождается от потрясенного сознания той связи, что возникает меж книжным миром и миром реальным. Это та самая связь, что «гриму, смешанному с потом и слезами, вечность истины жестокой придает...», и когда в книжной фигуре

шекспировского Ричарда открывается поэту живая трагедия, — в этот момент, словно бесшумный взрыв, возникает поэзия в стихах Тамаза Чиладзе:

Будет дальше
по телам шагать история,
будут люди
руки в кровь марать,
а на сценах мира
с плачем и стонами
каждый вечер
будет Ричард умирать..

Это очень сложно — то, что мы называем книжностью. Это мир книжных образов, это старые фрески, это поддельные страсти актеров, это готовые символы старой культуры, это хрестоматийные цитаты, это истертые штампы, это все то, что создано другими, что прошло через миллионы уст, став общеупотребительной частью эстетики, — это все то, наконец, что составляет гигантский индивидуальный фонд современной духовности. Драматизм нынешней поэзии продиктован тем, что действительное бытие личности заключено не вне, а в недрах этого разветвленного духовного производства. Новые книги и старые фрески, искусственные страсти актеров и истертые цитаты — все втянуто в гигантское жерло массовой культуры XX века. Но у поэзии нет иного материала, чем тот, который дает ей время. И у поэзии нет иной задачи, чем открытие целостной духовной жизни в недрах этого материала. Поэзия ищет подлинность в тумане полуподделок, она находит личность в океане полубезличного существования, она читает жизнь меж строк современной информации.

А мы называем это книжностью.

Наряды осени народные.
И преклоняюсь каждый раз
Я перед вкусом благородным
Ее бесхитростных прикрас.

Это — книжность. Юнна Мориц осмысляет Россию через Пушкина, через болдинский облетающий багрец. Потом Юнна Мориц едет на Север, путешествует по зимовьям Новой Земли, Таймыра, Диксона. Критики приветствуют ее: поэтесса искореняет книжность. Она привозит с Севера стихи — сборник «Мыс Желания». Жгучие полярные выюги, веселые зимовщики. Они во льдах, в насмешку вроде, идут «с приплясом, не спеша, свирелеющей природе табаком в лицо дыша»... Вот как увиден Север. «Там все, как в линзу, велико и, как в грозу, свежо»... Багровое на белом. Багровые от выюги руки — белая тундра. Плающие от ветра лица — белая тундра. Острая игла костра — белая тундра.

Черные ножи винта разбрызгивают белые льдины в зеленом море. Синее, от холода гавань, в ней по-мужски тоскуют корабли... Это Север, оплывающий солнцем, — на снегу пляшут люди, сминая снег горячими пимами.

Вы чувствуете: конечно, это — не Пушкин.

Это — Рокуэлл Кент!

Это тоже, если хотите, книжность. Это мир, знакомый по картинам, и оказавшийся реальным. От ощущения этой грани — где сказка смыкается с реальностью — острота взгляда и восторг, делающий арктические картины Юнны Мориц настоящей поэзией. Ощущение мгновенного слияния мечты и реальности — тема ее книжки. И отсюда — ее взрывающиеся краски. Красное и белое, мятежность и безмолвие, огонь и лед — «все скрестилось наглухо» в «Мысе Желания». «Восторг бескрайний — с крайним горем, с глубоким снегом — льда настил, одним прыжком он тундру — с морем и смерть с ошибкой совместил». Жестокость и доброта, инстинкт и разум сшибаются у Юнны Мориц. Критика попыталась определить суть ее поэзии. Появился термин: «пограничные переживания». Этот термин ввел, кажется, Рунин, внешний рисунок поэзии был им определен точно. «Пограничные переживания» навели критика на мысль сравнить арктические стихи Юнны Мориц со старыми тихоокеанскими стихами И. Сельвинского, а поскольку маститый поэт имел возможность выступить на тридцать лет раньше, то и объявлено было, что Юнна Мориц лишь повторила его, не дав ничего нового.

Боюсь внешних аналогий. У Чехова степь и у Антонова степь. У Сельвинского охота на нерпу и у Мориц охота на нерпу. Да еще у С. Кирсанова был сборник «Мыс Желания». Бездна соблазнов!

Но сравнение «Нерпы» Мориц с «Охотой на нерпу» Сельвинского имеет смысл. Тут абсолютно схожий поэтический сюжет: нерпу обманывают музыкой, губят красотой. Решение темы однако — диаметрально! Юнна Мориц не повторяет, а опровергает Сельвинского. Ее драматизм имеет другие истоки.

Когда на лед сбежало скерцо
Из-под вертящейся иглы
Что у нее случилось в сердце
От этой простенькой игры?

Когда охотник подманивает нерпу музыкой. — то что такое эта игра для охотника? Элемент его жизни, его охоты, его существования. Что такое эта игра для поэта, горожанина, приехавшего на Север писать стихи? Красивая сказка, книжный парадокс, оксюморон — убийство музыкой. И вдруг этот книж-

ный парадокс окрашивается живой кровью... Отсюда начинается для поэта — поэзия.

У Сельвинского нерпа не имеет сердца. Ее чувства просты и арифметичны, ее «толстый слух» — как канат, притягивающий нерпу к гибели, ее поведение исключает самый вопрос о том, что происходит в ее сердце. Интерес — в другом. Сельвинский дивится «двойственной роли» музыки, но это не ощущение жизни и смерти, а скорее изумление хитрости нового оружия: итальянский баритон не подозревал подобного, а вот его лирикой глушат зверя, как доской... Поэт вспоминает, что и сам он «бывал не раз избит, как нерпа, за доверчивость к искусству»; он и здесь изумляется хитрости раздвоенной его природы, но это изумление того, кто остался невредимым. Субъект лирического действия у Сельвинского — ловкий охотник Пантелей, который «набил 148 штук», а нерпа, что «ныряет, вьется вкривь и вкось, куда ведет ее лосось», это — одна штука из 148, безвольная функция, неживой объект хитрости.

А Юнна Мориц? Она поражена как раз тем, что для Сельвинского неважно: внезапным безволием существа, которое только что было свободно и вольно.

Она ластом волну мешала,
И льдины двигала она.
Казалось, кожа ей мешала,
Как распроклятье колдуна.

И ничего не надо, кроме,
Как лень на палубе бугром
И умолять ценою крови
Расколдовать себя багром...

Звонящее ощущение личности сильно у Мориц именно потому, что оно под угрозой. Сельвинский не ведал этого чувства, проблема цельности не занимала его по той причине, по которой здоровый человек не знает, что у него есть сердце. А он здоров, силен, киплингowski жесток. Весь тихоокеанский цикл Сельвинского таит в себе жестокость битвы, обернутую хитрой ласковостью. В знаменитой «Балладе о тигре» прием

обнажается: охотник усыпляет зверя лаской, а за лаской таится драка, и упование дракой — цель: «Не от катара я умру, не от падагры, нет!.. Я, как поэму, смерть приму из тигровых когтей...».

Герой Сельвинского попросту не ведает грани между легендой и реальностью. Легенда для него и есть реальность. Он не гибнет, попадая в когти тигра, он не смерть ощущает, ставя себя на место нерпы. Он упивается игрой, охотой, легендой. Его поэзия не знала альтернатив: существование было без остатка вобрано в творимую легенду.

Юнна Мориц не просто становится на сторону жертвы в этой охоте, она не просто сердце живое чувствует у нерпы и не поэзия охоты оказывается темой ее стихов, а загадка потери себя существом, которое жило отдельно от стихии этой сказочной охоты. Благодушный бригадир с царственностью победителя дарует нерпе жизнь:

У бригадира сдали нервы,
И был он добрая душа —
Уплыл, оставив кожу нерпе
Да искус музыки в ушах!..

Искус музыки — то, чем убили нерпу. Убили, не убив. Искус музыки — то, чем отняли ее у нее самой... Значит, она обречена — эта отпущенная на волю нерпа. Она не принадлежит себе: в ней жизнь подменена. Это вот трагическое ощущение жизни, подмененной невесть откуда сошедшим призрачным колдовством, хитроумной имитацией, игрой в жизнь, — и есть главный вопрос поэзии Юнны Мориц.

Она это называет — «искус музыки». Мы называем это книжностью.

Но как бы ни назвать — важно одно: поэзия всегда с людьми, и в то время, как подделка, шарахаясь от «книжности», изображает себя на всевозможных дорогах века, в худшую «книжность» невзначай попадая, — настоящая поэзия даже в самой книжности находит единственную для искусства дорогу — дорогу к правде.

У АННЫ АХМАТОВОЙ

Недавно в сицилийском городе Катания, на вечере, который транслировался по итальянскому телевидению, прозвучали строки, напомнившие миллионам людей о суровых днях Великой Отечественной войны.

Стихотворение называлось «Мужество» и принадлежало перу поэтессы Анны Ахматовой.

Высокое поэтическое мастерство Анны Ахматовой было отмечено в декабре 1964 года литературной премией Таормина, ежегодно присуждаемой жюри, состоящим из крупнейших итальянских литераторов, лучшим поэтам Италии и других стран. В связи с вручением поэтессе премии и было прочитано на торжественном вечере в Катании ее стихотворение «Мужество», переведенное, как и многие другие ее произведения, на итальянский язык.

Читая в газете сообщение об этом выдающемся событии литературного года, я вспоминала нашу недавнюю встречу с поэтессой в Ленинграде.

Высокая, полная женщина с семью волосами, спокойная и неторопливая в движениях — такова поэтесса, чья лирика поражает своим необычайным диапазоном, широтой и глубиной душевных раскрытий: «от еле внятного шепота до пламенной ораторской речи, от скромно потупленных глаз до — грома и молнии», как справедливо подметил один из критиков.

Мы беседовали в небольшом уютном кабинете Анны Андреевны. Лицо ее время от времени светилось доброй приветливой улыбкой, от которой большие глаза становились какими-то особенно теплыми и выразительными.

Но вот в разговоре я задала несколько необдуманный вопрос:

— Работаете вы над чем-нибудь в последнее время?

Поэтесса удивленно посмотрела на меня:

— Дня не проходит, чтобы я над чем-нибудь не работала.

Действительно, как можно было ставить так вопрос! Ведь сама поэтесса писала в автобиографии, что даже в самые тяжелые для нее годы она не переставала писать стихи, потому что в них была связь со временем, с жизнью народа, потому что, работая над ними, она жила теми ритмами, которые звучали в героической истории страны.

Тут же в кабинете, где мы беседовали, внучка Анны Андреевны — тоненькая, изящная, полная неотразимого обаяния, кажущаяся при первой встрече совсем еще

девочкой, а в действительности — уже студентка, будущий искусствовед, и к тому же «личный секретарь» поэтессы, — подбирала материалы для издающегося в Ленинграде нового сборника стихов Анны Ахматовой. Она-то и рассказала мне несколько позже, что день Анны Андреевны расписан буквально по часам. Время распределяется так, чтобы его хватило и для собственного творчества, и для работы над переводами, и для многочисленных встреч с сотрудниками редакций и издательств, с молодыми поэтами, жаждущими услышать мнение поэтессы о своих стихах. Трудно бывает предвидеть, сколько еще дел, помимо «запланированных», принесет каждый начавшийся новый день. А поэтессе уже 75 лет и позади — тяжелые болезни, суровые жизненные испытания...

Вместе с Анной Андреевной мы смотрим итальянский журнал, в котором опубликованы ее литературные воспоминания. Прекрасное издание, прекрасные иллюстрации — фото из жизни поэтессы. Потом Анна Андреевна показывает мне объемистую папку посвященных ей стихотворений, и я убеждаюсь, что она и ее поэзия пользуются искренней любовью не только у читателей, но и у собратьев по поэтическому творчеству. И тут я спрашиваю, известно ли ей стихотворение, опубликованное в 1922 году в одном из грузинских журналов — «Письмо Анне Ахматовой» за подписью Елены Дариани. Я напоминаю в подстрочном переводе строки, убеждавшие ее непременно побывать в Тбилиси:

Приезжай ко мне, я думаю
Мы будем сестрами.

Доброта и красота Тбилиси
Тебе помогут, знаю.

Наше солнце, наша лазурная сторона
Зарумянят твои щеки.

Об этом стихотворении, оказывается, Анна Андреевна знала от Паоло Яшвили.

Мы заговорили о грузинских поэтах, с которыми Анна Андреевна знакома лично, — о Паоло Яшвили и Тициане Табидзе, Симоне Чиковани и Георгии Леонидзе, об Иосифе Гришавили, чьи стихи она переводила.

— С Тицианом и Паоло, — рассказала она, — я познакомилась в начале 30-х годов у Бориса Пастернака. Оба они пред-

ставляли в то время для нас, русских поэтов, Грузию. Оба они часто приезжали в Москву и Ленинград вместе.

Анне Андреевне запомнились отдельные моменты встреч у Бориса Леонидовича Пастернака, у поэта-переводчика М. Л. Лозинского, на банкете, устроенном в честь дня рождения Тициана; запомнились нескончаемые разговоры о поэзии и проблемах литературы, чтение стихов и переводов.

С улыбкой рассказала Анна Андреевна, как на одном вечере Паоло Яшвили прочел свое новое стихотворение «Нита-капитан», посвященное дочери Тициана — Танит Табидзе, после чего завязался оживленный разговор о желании девочки стать штурманом дальнего плавания. Поинтересовавшись судьбой Ниты Табидзе, Анна Андреевна продолжала рассказывать:

— Однажды Борис Пастернак привел Тициана и Паоло ко мне, на Фонтанку 34, где я тогда жила. По моей просьбе Тициан прочел много стихотворений по-грузински; мне хотелось глубже вникнуть в музыку грузинского стиха, постичь его звучание...

Встреча и беседа с поэтессой, — подумалось мне тогда, — оставили глубокий след и в душе Тициана. Недаром в письме к Валериану Гаприндашвили из Ленинграда он писал: «Необычайной была встреча с Анной Ахматовой», а по приезде много и восхищенно рассказывал о ней.

Вспоминая Тициана, Анна Андреевна говорила:

— Мы все, ленинградские поэты, его очень любили. Это был необычайно теплый, искренний человек, всей душой преданный

поэзии, живший в искусстве; к тому же он обладал редким умением держать себя в обществе.

Встречи и беседы с грузинскими поэтами несомненно помогли Анне Андреевне во время работы над переводами грузинских стихов. Тепло и проникновенно звучит в ее переводе на русский язык удивительно лиричный, исполненный чистоты и свежести большого чувства «Сонет к Элли» Паоло Яшвили; проникнув в тайны грузинской силлабики и образной выразительности языка и, наряду с этим, прекрасно владея искусством возвышенного, героического, трагедийного слова и жеста, — поэтесса переводит стихотворения Иосифа Гришавили «Грузинка-мать», «Осиротелым детям», «Когда пишу стихи», «Фронтальная сестра» и другие.

Перечитывая сейчас эти переводы, я невольно вспоминаю слова, сказанные Анной Ахматовой одному из корреспондентов, что в наше время «люди стали глубже и мудрее и научились больше помогать друг другу». И я думаю о том, что своей работой над переводами произведений народов СССР, корейской поэзии и сербского народного эпоса, так же как и лучшими творениями собственной лирики, поэтесса делает большое и важное дело, помогая миллионам читателей постичь глубину и подлинную красоту народной поэзии. Присвоение ей премии Таормина и почетной степени доктора филологии Оксфордского университета — вполне заслуженная ею награда.

В. БАЛУАШВИЛИ

Подписано к печати 10 января 1965 г. 6 печ. листов. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆.

Заказ № 3199

Тираж 2300

УЭ 06007

Цена 40 коп.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

ქურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნება“

Пелиграфкомбинат издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина 14.

69444

Цена 40 коп.

ИНДЕКС
3476117-0
302 000011

[Redacted]